

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

ВСЕ СВОИ

60 ВИНЬЕТОК И 2 РАССКАЗА



Александр Жолковский

Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа

«НЛО»

2020

Жолковский А. К.

Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа / А. К. Жолковский —
«НЛО», 2020

ISBN 978-5-44-481424-6

Прославленному филологу Александру Жолковскому удалось создать собственный оригинальный металитературный жанр – виньетку: фрагментарный, беллетризированный, вольный мемуар. Автор собрал под одной обложкой более полусотни виньеток, до того рассыпанных по интернету и бумажной периодике, к ним он также добавил два новых рассказа. В книге на равных правах участвуют известные культурные герои (Надежда Мандельштам, Умберто Эко, Юрий Щеглов, Омри Ронен) и давно потерянные знакомые, студенты филфака МГУ и случайно встреченные девушки, медицинские работники и персонажи из соцсетей. Из этих разрозненных остроумных заметок складывается удивительная мозаика личной судьбы и большой эпохи, комедии нравов и драмы бытия. Внимание! Книга содержит нецензурную лексику.

ISBN 978-5-44-481424-6

© Жолковский А. К., 2020

© НЛО, 2020

Содержание

Виньетки	6
Справка	6
Мы все глядим в аристократы	8
В далекую	16
Собственный компьютер	18
Грифель, который всегда с тобой	20
Игналина	24
На старом филфаке	27
Владик Е	27
Костюмы	28
Вадим Р	29
Игорь Ч	30
Владимир Л	31
Die Söhne	32
Все свои	35
Король	41
За кашей	42
Аромат эпохи	43
Визит к старой даме	45
Интертекст	47
О понимании	48
В сторону Гогена	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Александр Жолковский Все свои 60 виньеток и 2 рассказа



Виньетки

Справка

...На ваш запрос сообщаю, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве полвека назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их «Мемуары». Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – «расписаться». Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от «научности» не избавился.

Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (тому, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую повествовательную позу принять – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персонуой как еще одним повествовательным приемом.

Авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке «правды» и «свободы», – стержень жанра. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере повествования (часто «научной») и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой ставится под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совиновником. Присочинение постыдных фактов не допускается, но их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться.

Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то «мое», то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать.

Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский «нарицсизм». Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более – избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование «фактов» (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит среди прочего в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т. п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от «правды», которая всячески эстетизируется, нарицсизмируется, виньетизируется.

Ревани она берет в другом. Главную «правду» виньеток я полагаю в самой решимости написать их – и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той кариатидой, которая подпирает в конечном счете все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится осязаемой, когда

друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями («не в вашем стиле»).

Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямоотой (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина («за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет»), про себя называю посмертным.

Мы все глядим в аристократы

У меня было привилегированное, можно сказать аристократическое детство. То есть оно было, конечно, советское и пришлось отчасти на войну (не говоря о сталинизме), но если выбирать между хрестоматийными крайностями, то скорее толстовское, чем горьковское. С любящими интеллигентными родителями, в отдельной квартире с балконом, в приличном («еврейском») кооперативе на тихой, но близкой к центру Метростроевской-Остоженке (рядом с домом «Муму»¹), летом на даче (правда, съемной), а порой и «в усадьбе» – в одном из домов творчества композиторов: в Рузе, под Ивановом, на Рижском взморье, в Сортавале (бывшем охотничьем доме маршала Маннергейма). Даже родился я, где все порядочные люди, – в род-доме на Арбате, «у Грауэрмана». Арбат – старый Арбат, воспетый Окуджавой (Новый прорубался уже на моей взрослой памяти), – был в пределах пешей досягаемости, мы ходили туда в зоомагазин за рыбками и на толкучку за почтовыми марками. В школе были неплохие учителя (не могу не назвать Ольгу Михайловну Старикову, преподававшую в старших классах литературу), и я без отвращения окончил ее с золотой медалью.

Основная жизнь сосредотачивалась во дворе. Дворы были в большинстве проходные, и задней стороной дом выходил на огромный пустырь, где лютовали санюлоты-бараковцы, но во внутренний двор, с символической оградой, лавочками и парой деревьев, посторонние забредали редко, тем более что напротив, слегка на горке, в старой деревенской избе жил местный милиционер (за которого вышла наша бывшая домработница, сохранившая в неприкосновенности оставленную в годы эвакуации на ее попечении четырехкомнатную квартиру, – любимая «няня Дуня» моего детства).

Считалось, непонятно почему, что я влюблен в сверстницу из второго парадного, Наташу с загадочно влекущей своей иностранностью фамилией Франк. Любовь была настолько платонической, что мы с ней никогда – ни разу за все долгое детство и отрочество – не обменялись и словом и ни на каких общих мероприятиях (скажем, днях рождения) не встречались; вообще между нами не было ровно ничего, и догадывалась ли она о нашей судьбоносной связи, я не знаю. В дворовой жизни девчонки, которых в доме было не меньше, чем мальчишек, почти не участвовали, – сказывалось раздельное обучение. Наташа же держалась совершенным особняком, быстро пробегая по двору в школу и из школы.

Внешне она была ничем не примечательна, среднего росточка, немного курносая, с чистым белым личиком, аккуратная, тихая, незаметная. Впрочем, сама эта тихость была у нее фирменная, семейная, унаследованная от матери, на которую в остальном она походила мало. Та была бесспорная красавица, с большими глазами, прямым носом, высоким лбом, всегда в строгих костюмах, на каблуках, немного уже отяжелевшая, внушительно молчаливая и смотревшая только перед собой.

Тут чувствовалась какая-то тайна. Они жили втроем: Наташа, ее мама и тетя, хромая, бездетная, смешливая. Никакого мужчины, мужа, Наташиного отца в этом женском царстве не наблюдалось. Но однажды он, кажется, все-таки появился – высокий, широкоплечий, тоже мрачный, с пустыми глазами. Дело было то ли в разводе, то ли, поговаривали, в судимости, опять-таки, то ли по уголовке, то ли по политике. А в конце сороковых – начале пятидесятых, в годы борьбы с «космополитизмом», Наташа сменила фамилию и стала Софроновой – понятное дело, по отцу, и, значит, вряд ли репрессированному; заодно поблекла и экзотика фамилии Франк.

¹ В нашем скверике теперь есть памятник Тургеневу: 10 ноября 2018 года его торжественно открыл президент. Памятник стандартно советский – настолько, что Тургенев, которого мемуаристы единодушно называли «великаном» (еще бы – метр девяносто два!), выглядит как энергично фукцирующий пропагандист-агитатор среднего роста; такой памятник и открывать не обидно (<https://www.kp.ru/online/news/3292373/>).

Совершенно параллельно, но в другом, герметически изолированном отсеке моего детства за мной числилась другая «невеста» – Таня, дочка композитора Николая Пейко (1916–1995), с которым дружили мои родители. Общались мы в домах творчества композиторов, на музфондовских елках и подобных праздниках, а пару раз, кажется, у них в гостях. Таня была миловидная блондинка, с хорошеньким овальным лицом (ясно вижу его перед собой), мы пунктирно приятельствовали, но откуда взялась идея нашего романа и будущего брака, не знаю, – возможно, из шуток родителей. Николай Иванович был блестяще образованный человек, серьезный композитор и педагог, да еще и шахматист (они с папой часто играли). Высокого роста, спортивный, он говорил немного сиплым, как бы пропитым, голосом и казался простоватее, чем был на самом деле. Его отца арестовали и расстреляли в 1937-м, его учитель Н. Я. Мясковский подпал под постановление ЦК о формализме в 1948-м, и вдобавок ко всему, он был женат на подлинной аристократке, из княжеской семьи Оболенских, тоже кругом репрессированных. Ирина Михайловна (1916–1988), единственная моя знакомая княжеских кровей, была обаятельной красавицей, с каштановыми локонами, решительным орлиным носом, невысокая, немного уже располневшая, но очень подвижная. Из нашего с Таней жениховства, разумеется, ничего не вышло, с тех отроческих пор мы больше не видались, но вот что приходит в голову в связи с занимающим меня аристократизмом. Обе мои Дульцинеи, и Наташа, и Таня, были упрощенными версиями своих светлейших мам. Как поется в песне, *Вот так разлагалось дворянство, Вот так распадалась семья...*



Центральный дом ученых РАН. Фото NVO. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Важнейшим очагом моего аристократического детства-отрочества был Московский дом ученых на соседней с Остоженкой Кропоткинской/Пречистенке, основанный в 1922 году по инициативе Горького.

Папа (мой отчим Л. А. Мазель, 1907–2000) был доктором музыковедения, и мама (Д. С. Рыбакова, 1904–1954) настояла на членстве, предоставлявшем определенные привилегии. Она же определила репертуар моих внешкольных занятий в этом престижном особняке. Вдобавок к игре на рояле и изучению английского с домашними учителями (часто сменявшимися из-за моего упрямого сопротивления) я ходил в Дом ученых на уроки бального танца и какой-то особой гимнастики.

Бальные танцы отдавали стариной и молчаливо противопоставлялись запретным западным. (Слова *фокстрот* и *танго* на время были исключены из официального лексикона и назывались – когда избежать упоминания о них было нельзя – соответственно, *быстрым* и *медленным танцами*.) Вела эти уроки прелестная Наталия Ивановна, дама былых времен, в зеленом костюме и обвивавших шею белых кружевах, с правильным лицом, обрамленным седыми буклями, и подчеркнуто прямым, но тяжелым станом (на ум приходит почему-то слово *турниор*).

О сколь былых временах идет речь? Если учесть, что дело происходило году в 1950-м, а тогдашней Наталии Ивановне я бы дал около шестидесяти, то она должна была быть прибли-

зительной сверстницей Ахматовой или, в крайнем случае, Цветаевой, то есть в полной мере дамой, выражаясь языком Паниковского, *с раньшего времени*. Под ее руководством, уводившим чуть ли не в XVIII век, я научился танцевать краковяк, польку, па-де-грас, па-де-пати-нер (патриотически переименованный в те годы в «Конькобежцев», что не мешало Наталии Ивановне стойко держаться французской ономастики), вальс и даже мазурку – да-да, *легко мазурку танцевал*.

Там у меня была постоянная партнерша, еще одна воображаемая дама сердца – сравнительная простушка Таня Костина, был и красавец-соперник – юный джентльмен тех времен Боря Лакóмский, но больше ничего на память не приходит. Имелся еще один приятель по Дому ученых, кажется, тоже из музыкальных кругов, но, может быть, не по урокам бального танца. Не помню, как его звали (Валерий?), но помню его некрасивое – «плебейское» – лицо и нескладную фигуру в мешковатом сером костюме (мы носили костюмы!) и помню, что у нас были какие-то свои дела в разных помещениях и закоулках вместительного особняка; нам почему-то позволялось – несмотря на обилие всякого рода вахтеров, служителей, официантов и капельдинеров – бродить по этажам, проникать за кулисы и в ложи пустующего днем концертного зала, в общем, чувствовать себя как дома в этих роскошных чертогах². (Немного позже, году в 1954-м, я был там на концерте полуопального Вертинского; помню его усталую высокую фигуру с небольшим брюшком и уже слегка надтреснутый голос.)

А еще я посещал в Доме ученых уроки «гармонической гимнастики» – класс великой Алексеевой, тоже специалистки с раньшего времени (и на этот раз датировка вполне надежная, см. *Алексеева Людмила Николаевна*, 1890–1964, в Википедии). У Алексеевой был вид простецкой бой-бабы, такие же манеры и командный голос (все признаки истой аристократки). Спрос на нее был велик, так что в один класс набирались дети разного возраста, я бы сказал, от пяти до пятнадцати, но не исключаю, что там могли быть и совсем взрослые дамы. Повелевала Алексеева прежде всего своей небольшой труппой: ассистенткой Ирой Девяткиной (или Девятовой), по рабочей кличке Девятка, – немолодой женщиной лет тридцати пяти, изможденной балетным режимом, с бледным веснушчатым лицом и спортивной, но полноватой (за исключением груди, которой практически не было) фигурой. Она работала в трико, демонстрируя классу те па и жесты, которые объясняла Алексеева, под музыкальное сопровождение бедно, но достойно одетого седеющего аккомпаниатора Алексея, кажется мужа или постоянного партнера Девятки. Громко распоряжалась Алексеева и всем своим разношерстным классом, фамильярно выделяя как недотеп, так и любимчиков; из последних помню совсем маленькую, лет пяти, гуттаперчевую брюнетку по прозвищу Клякса (если память не подводит, дочь какого-то академика, не исключено, что Артоболевского). Занятия у Алексеевой были оваяны, по крайней мере в сознании мамы, именами Далькроза, Дункан и Станиславского, и деваться мне было абсолютно некуда.

Я упомянул усадьбную ауру домов творчества, и ей надо было бы отдать должное, но ограничусь абзацем из своего старого рассказа, где реалии слегка подретушированы, а для сгушения эффекта все дано глазами бедной провинциалки:

Рая выросла в малокультурной семье, но одно время ее мать служила сестрой-хозяйкой в Доме творчества архитекторов на Рижском взморье. Девочка, наряженная во все самое лучшее, постоянно вертелась вокруг отдыхающих, и в памяти у нее навсегда засели разноцветные коттеджи, сад, населенный флиртующими дамами и кавалерами, и несколько лиц, причесок и фраз, которым суждено было обрести магическую власть над ее вкусами. Там были: гибкая девушка с кукольным лицом, вьющимися черными волосами и так шедшим ей экзотическим именем Ноэми; ее поклонник, полноватый,

² См. http://www.cdu-art.ru/dom_interiors.php.

в массивных очках, отпрыск громкой литературной фамилии; и высокая блондинка с тонкими чертами лица и прямым, слегка длинным носом, как в дальнейшем поняла Рая, – недавно разведенная (запомнилась строчка из капустника: «Ирина, бывшая Бейнар»); за ней ухаживал малосимпатичный Рафа Реперович («плешивый отрок Рафаил»). На следующий год мать перевели на Урал, но с тех пор Рае часто виделось, как из объятий Ноэми, кокетливо заслонившейся ею, словно маленьким пажом, от своего кавалера, она смотрит вслед Ирине, идущей по дорожке в длинном цветастом халате, открывающем обнаженную ногу выше колена, и ей хочется то ли быть, то ли – как-то, непонятно как – обладать одновременно обеими³.

Вымышленной (но отчасти списанной с одной знакомой) Рае отданы райские впечатления одиннадцатилетнего автора (в его случае строго гетеросексуальные). Дом творчества композиторов был в Яундубултах; загадочное имя Ноэми (всего лишь женский вариант *Наума*) принадлежало дочке музыковеда В. М. Городинского (1902–1959); Рафа Реперович – композитор М. А. Меерович (1920–1993); И. В. Бернар, согласно скупой справке интернета, была актрисой МХАТа (1938–1948); громкая литературная фамилия – Толстой: речь идет о двадцатипятилетнем тогда композиторе Дмитрие Толстом (1923–2003), сыне «красного графа» Алексея Толстого (еще один сов-аристократический штрих) и отце моей коллеги и доброй знакомой Елены Толстой (еще один осколок империи в моей жизни). И, раз уж на то пошло, не забудем ее кузину Татьяну Толстую, с которой я на ты (хотя почти никогда не вижу) и отца которой, Никиту Алексеевича (1917–1994), я немного знал в Коктебеле. (Коктебель был, конечно, еще одним окном в дореволюционное прошлое, но это уже в юности.)

...Русский человек – аристократ в душе. Русский, советский, русско-еврейский, русско-грузинский (как на этот счет татары, узбеки и ненцы, не скажу, не знаю), особенно если интеллигентный – в душе аристократ, а в натуре – разночинец, с переменным успехом выдавливающий из себя совка.

Выдавливающий путем работы над своим аристократическим самообразом. Не отсюда ли наши «английские» анекдоты?

Про лорда, выходящего под утро из прокуренного клуба, где всю ночь играл в карты, и спрашивающего у швейцара: – Чем это так воняет, Джон? – Свежим воздухом, сэр!

Про Робинзона Крузо, который водит по своему острову капитана, прибывшего забрать его в Англию, и на вопрос, что это за здание, отвечает: – Это клуб, где я бываю каждый вечер. – А это? – А-а, это другой клуб, в котором я принципиально никогда не бываю!

Про Абрама, который одевшись в Лондоне с иголки (смокинг, цилиндр, зонтик), смотрит на себя в зеркало и плачет. – Что ты плачешь, что, Абрам? – спрашивает Сара. – Мы потеряли Индию, – с британским акцентом отвечает Абрам.

И не отсюда ли то как бы офицерское чувство чести, в силу которого я не мог не прикнуть к числу подписантов брежневских времен, что во многом определило дальнейшую кривую моей жизни?!

Мы все глядим в аристократы. То есть когда-то в России была, худо-бедно, настоящая аристократия. Тоже, правда, помесь, как уже отмечалось, татар с немцами, но все-таки. И начиналось дело обычно с простого мордобоя (а то и ползания на коленях перед ордынцами), но через несколько поколений порой вырабатывалось что-то достойное. Ребенок вырастал в иде-

³ Рассказ «Родословная».

альной усадьбе, все путем, и только уже в зрелом возрасте или даже в старости вдруг начинал стремиться к опрощению, косьбе наравне с мужиками, раздаче имущества, уходу из поместья, хотя особой спешки, если подумать, не было: достаточно было подождать лет семь, и имения, морально тяготившие их совестливых владельцев, мужики начали сжигать дотла, а одобрявших это хозяев (заслушавшихся музыки революции) пускать нагишом. Ну а что не успевали сжечь мужики, то национализировали новые бары, чтобы объявить правительственными дачами и санаториями.

Или наоборот. Ребенок рождался в мещанской среде, более или менее на дне, среди запаха красок (или дубленых кож), где-нибудь в Нижнем (или Варшаве), но тянулся к «книжному шкапу» – книгам, которым и был обязан всем лучшим в себе: благодаря им он и становился новым помещиком, владельцем усадеб и особняков (на Капри, в центре Москвы, в Горках), или как минимум аристократом духа, другом Ариосто, Петрарки и Тассо. Впрочем, жестокая – и почти одновременная – смерть поджидала в советской ночи обоих.

Был и вариант, оригинально совмещавший первые два. Рождался и рос герой в доме породистых предков, в особняке (где-нибудь на Большой Морской), впитывая иностранные языки с молоком гувернанток и предаваясь ловле бабочек на даче (в какой-нибудь Выре), потом лишался всего с приходом красных, бежал сначала от них, потом – дважды – от коричневых, а там и от простаков – американских студентов, пока не обретал, наконец, аристократический покой (где-нибудь в Монтрё), которым был обязан опять-таки книгам (с частыми вариациями на тему «короля в изгнании»; формулу нарочно беру не у него, а у двух его советских современников-плебеев).

Первый вариант – типично русский, органический, наследственный, второй – во многом еврейский, опосредованный, книжный, но Книга-то у евреев не чужая, своя, так что и с прямой наследственностью у нас все в порядке, можно сказать, самая потомственная аристократия на земле. К тому же в век Меркурия, тем более в советских условиях, интеллигенция была настолько, м-м, проевреена, что даже удивительно, как это Горький – не *ex nostris*. («Такой интеллигентный нееврей», позже напишет о себе Лимонов.)

Беда в том, что наш элитаризм – скоропортящийся, прерывистый, быстро обретаемый, еще быстрее отбираемый, потом опять наскоро восстанавливаемый. (Вспомним эпизод «Андрея Рублева», где отец *не передает* сыну драгоценного «секрета колокольной меди».)

Вот арестовывают (в 1937 году) мать будущего писателя Василия Аксенова (1932–2009), Евгению Гинзбург (1904–1977), и тридцать лет спустя она детально описывает это в своем «Крутом маршруте». Что же поражает там больше всего? То, сколь неожиданным и возмутительным – незаконным! – кажется ей вторжение грубых энкавэдэшников в мирный, просвещенный, поистине гуманный уют ее безупречно партийной семьи, плоти от плоти благополучной коммунистической элиты – хозяев Казани, живущих в просторных отдельных квартирах и отдыхающих на обкомовской вилле «Ливадия», а то и в престижном подмосковном поместье:

Астафьево – пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского – было... «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольнчики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним... [В] Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, [но] некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание...⁴

⁴ Гинзбург Е. С. Крутой маршрут. М.; Берлин, 2015. С. 34–35.

Ее коробит чванство более высокопоставленных коммунистов – иерархическое расслоение новоиспеченной аристократии, но ей и в голову не приходит задуматься о незаконности экспроприации княжеских поместий (Бармалей в фильме «Айболит-66» объявляет прямо: «Это мой корабль! Я его захватил!»), не говоря уже о полной незаконности режима, которому всего-то двадцать лет, но которому она – историк советского разлива (выученица казанского факультета общественных наук, 1920–1924), член ВКП(б) с 1932 года (!), жена предгорсовета Казани, – безоговорочно, как бы от века и навеки – предана всеми фибрами своей новодворянской души. О казни (сравнительно неподалеку, в Екатеринбурге-Свердловске) императорской семьи, о философских пароходах, Соловках, уничтожении крестьянства как класса, судьбе Бунина, Ходасевича и Набокова и целого вырезанного или выдавленного из страны культурного слоя у нее вопросов не возникает. Во всем виноват исключительно Коба, предавший ленинские нормы партийной жизни. Как поется еще в одной песенке:

Отец мой Ленин, мать Надежда Крупская,
Калинин дедушка, а Троцкий брат родной,
Мы жили весело семьей на Красной площади,
Но гуталинщик⁵ нарушил наш покой!⁶

В лагере вопросы, разумеется, возникнут и кругозор расширится...

А потом – очередная ирония судьбы! – ее сын станет любимцем оттепельной элиты, потом изгоем-эмигрантом, а потом признанным российским классиком; ему даже вернут квартиру в высотке на Котельнической набережной, но он не оставит и своей виллы в Биаррице. А задолго до того опишет (в «Затоваренной бочкотаре», 1968) «рафинированного» советского интеллигента Дрожжинина, уникального специалиста по Халигалии, с его «подспудными надеждами на дворянское происхождение»!

Моя мама, сверстница Евгений Гинзбург, в партию не вступала, но была смолоду левачкой, членом РАПМа (и, как я понимаю, гражданской женой «пролетарского» композитора Александра Давиденко; 1899–1934). Папа (отчим) был чуть моложе, но не грешил даже и этим, однако в качестве рекордно молодого завкафедры теории музыки Московской консерватории (1936–1941), конечно, занимал место, освободившееся от старорежимной публики. В свой черед он потом пострадал от антиформалистской (1948) и «антикосмополитической» (1949) кампаний, но до и после этих погромов мы жили уже описанной комфортной жизнью советской культурной элиты. В начале 1990-х папе пришлось пережить финансовый крах советской системы, все его сбережения и персональная пенсия обратились в труху, но к этому времени культурный капитал, полученный мной в привилегированной советской семье, я успел обратить в международный профессиональный и тем самым долларовый, так что мог прилично содержать его. После его смерти я унаследовал его квартиру на Маяковской, но своей собственной, остроженской, за копейки возвращенной кооперативу при отъезде в эмиграцию (1979), а сегодня являющей бесценный real estate мирового уровня, лишился навсегда. (Как говорил в Вороньей слободке: «А не летай!»)

Досадная прерывистость нашего элитаризма – не сугубо советская. Вспоминаются слова Павла I: «В России нет значительного человека, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь... пока я с ним разговариваю». И чутко вторящего ему Пушкина, шестисотлетнего дворянина,

⁵ То есть Сталин, с его кавказскими сапогами, который, однако, не был айсором – типичным уличным чистильщиком сапог в старой Москве (и даже на моей памяти).

⁶ Вариант: *Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская, А дед мой был Калинин Михаил. Мы жили весело на Красной площади, Усатый Сталин к нам обедать заходил!* По ходу песни Сталин поступает с героем нехорошо (А мне статья с ужасным юмором досталась, Я с ней весь Север, весь до горки, проканал), и становится ясно, что обедами Сталина кормить не стоило (<https://www.youtube.com/watch?v=ET2CdIXd9mM>; один из вариантов А. Волокитина).

который после случайной встречи на прогулке с императором Николаем признается знакомой:
«Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!»

Так что бог с ним, с аристократизмом. *Я мещанин, я мещанин!*

В далекую

Эту формулу я уже вспоминал – в связи с тем, как в середине семидесятых папа приезжал к нам с Таней на дачу в Купавну, чтобы, тряхнув стариной, сходить, вот именно, «в далекую». Я помнил ее с детства. Под ее знаком папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и попевал к ее сюрпризному вручению местным почтальоном.

Такое он проделывал не только на даче – в Челюскинской (1953–1954, у «Зоси» Мархлевской, дочери польского большевика), в Кратове (1951–1952, у Митлина, одноклассника советского наркоминдела А. А. Громыко, считавшегося в школе одним из самых тупых), на 42-м километре (1950, у Гаращенко, где я жутко переболел дизентерией), – но и раньше, когда папу еще не увольняли из Консерватории (1949) и мы летом живали в домах творчества композиторов – в Яундубултах на Рижском взморье (1948), под Ивановом (1947), в дважды завоеванной у финнов Сортавале (1946).

Откуда взялась эта странная идиома (стоящая особняком от более обычных, типа *вслепую*, *в открытую*, *врассыпную*), я не знал и у папы не спрашивал, хотя не исключено, что своими корнями она уходила вглубь его богатой словечками, преимущественно еврейскими, семейной истории и принадлежала кому-то из предков. Своим рано пробудившимся языковым чутьем я сразу выделил ее, полюбил и радостно повторял, но о филологической тайне ее привлекательности не задумывался.

Задался я этой загадкой только недавно – и сходу разрешил ее, раз и навсегда. Но это не значит, что годы нерассуждающей любви к папиному слогану прошли даром. Иногда над разгадкой бьешься долго, иногда она приходит мгновенно, но с любимыми текстами чаще всего бывает так, что ты бескорыстно помнишь их, любишь, цитируешь, примеряешь к себе и другим и лишь много лет спустя вдруг соображаешь, в чем там дело.

Ну, первые тридцать лет вопроса об анализе, естественно, не вставало. Но к середине семидесятых мы со Щегловым разработали соответствующий инструментарий, который охотно испытывали как на литературной классике, так и на образцах «низкого» жанра⁷. К данному случаю следовало применить понятия иконического воплощения темы и ее проекции в сферу языковых средств. Но тогда это сделано не было. А на днях фраза почему-то вспомнилась – папы уже почти двадцать лет как нет на свете, последний раз мы с ним ходили в далекую в 1984-м, и он с передышками, но взошел на Мон-Сен-Мишель, теперь же и мои прогулки, в том числе велосипедные, постепенно сокращаются, – вспомнилась и, не церемонясь, открыла свою тайну.

Проницательному читателю ответ, наверное, уже ясен. Для остальных позволю себе его сформулировать.

Тема этого мини-текста заявлена впрямую: «нечто далекое, даль». Главная особенность ее выражения тоже очевидна: эллипсис. Причем даже двойной, поскольку текст эллиптичен и синтаксически – опущено существительное, к которому относится прилагательное *далекую*, и лексически – остается неизвестным, какое именно существительное подразумевается: *прогулку?* *дорогу?* *экспедицию?* *сторону?* *даль?* В то же время грамматически, семантически и прагматически конструкция вполне определена: направительный предлог *в* + винительный падеж, женский род существительного, очевидность намерений говорящего. Налицо характерное поэтическое напряжение между внешней неправильностью высказывания и его образной внятностью.

⁷ См. наши препринты «К описанию смысла связного текста», I–IV (1971–1974).

И соответствие между смыслом и текстом – самое прямое, прозрачное, иконическое. Ведь что такое «даль»? Это нечто, к чему наши желания, мысли, взоры стремятся (как прилагательное стремится к определяемому им существительному), но что находится где-то за пределами нашего видения, поля зрения, горизонта, являя собой некое неопределенное, загадочное, да еще и женское, «там» (подобное опущенному существительному эллиптической конструкции).

...Задача, как видим, несложная, решение простенькое, триста лет поливать и стричь было, пожалуй, необязательно. Зато дополнительно высветилась временная перспектива.

Санта-Моника, август 2017

Собственный компьютер

Это было больше полувека назад, в самом начале шестидесятых. Мы со Щегловым, недавние выпускники филфака МГУ, занимались в Лаборатории машинного перевода МГПИИЯ им. М. Тореза разложением смысла слов на элементы («семантические множители») и одновременно вынашивали свою порождающую поэтику, когда меня вдруг заметил сам великий Мельчук, предложивший работать с ним над моделью «Смысл – Текст». Оказавшись соавтором сразу двух выдающихся коллег, я был поражен обилием неожиданных аналогий между семантикой и поэтикой и с радостным возбуждением принялся переносить из одной в другую новейшие находки.

Юра и Игорь никогда толком не понимали друг друга. Юра с недоверчивой тревогой выслушивал мои реляции с мельчуковского фронта, а Игорь упорно сомневался в осмысленности филологических, как он выражался, печек-лавочек и в лучшем случае великодушно разрешал мне заниматься ими в свободное от серьезной работы время. Он был старше, знаменитее, авторитетнее. Юра невольно чувствовал себя уязвимым, обойденным, ревновал нас друг к другу.

Вскоре он отлил свои переживания в чеканную форму.

– Знаешь, Алик, меня иногда спрашивают, зачем ты понадобился Мельчуку. Я отвечаю: понятно зачем – ему ведь всегда хотелось иметь собственный компьютер.

Юра был в своем репертуаре. Прежде всего, вряд ли кто-то его о чем-то спрашивал, а он кому-то что-то отвечал – общение с народом он всегда сводил к минимуму. Его старательно выверенное *apte dictum* было адресовано мне, его единственному собеседнику, мне он его и сообщил. Тем более что оценить его, кроме меня, было некому. Я оценил – запомнил на всю жизнь.

Гадость, конечно, в частности потому, что вранье. Но какой класс!

Удар сразу по обоим: я предстаю машиной, бессловесным орудием в руках Мельчука, а Мельчук – бездушным манипулятором, любителем дорогих технических игрушек.

Гадость, слегка припудренная похвалой: компьютеры были передним краем науки и все наши теории ориентировались на идею электронного моделирования, так что производство в ранг компьютера могло восприниматься как лестное.

Ядовитые слова о собственном компьютере звучали безудержной фантастикой. В те годы электронно-вычислительные машины, ЭВМ, были редки, громоздки, дороги и принадлежали большим институтам; чтобы получить право на дорогое «электронное время», нужно было заранее подавать заявку, и доступ к ЭВМ имели только сами компьютерщики, а не лингвисты, хотя бы и типа Мельчука. О персональных компьютерах никто тогда не слыхивал и помыслить не мог. Тем поразительнее злобная Юрина гипербола, в дальнейшем обернувшаяся пророчеством. Как это ему удалось? Видимо, что-то такое он с безжалостной пронизательностью прочитал в душе Мельчука, и задним числом лавры провидцев следует поделить между обоими.

Вранье же – потому, что электронно-вычислительными способностями отличался, конечно, не я, а Мельчук, меня ценивший, напротив, за языковое, прежде всего семантическое, чутье. Компьютерную роль я играл как раз в нашем тандеме со Щегловым. Вранье, конечно, грубое слово. Это был типичный, как тогда говорили, «художественный свист»⁸, и вполне виртуозный.

Архетипическим образцом удара одновременно по двум мишеням, причем под соусом похвалы, для меня всегда остается одна острота Тютчева.

⁸ Номера художественного свиста в буквальном смысле слова часто передавались тогда по радио – в исполнении артиста Ефима Нейда.

Канцлер князь А. М. Горчаков (тот самый – «последний лицеист») сделал камер-юнкером некоего Акинфьева, в жену которого был влюблен. По этому поводу Тютчев заметил:

– Князь Горчаков походит на древних жрецов, которые золотили рога своих жертв.

Он сказал это по-французски (...ressemble aux sacrificateurs anciens, qui doraient les cornes de leurs victimes), но в переводе как будто ничего не пропадает.

А вопрос о том, какой я компьютер, занимает меня с тех пор постоянно. Ну какой? Долговременная память явно небольшая – знаю и помню я мало, зато оперативная память быстрая и эффективная – то немногое, что знаю, я применяю очень лихо, иногда сам удивляюсь.

Грифель, который всегда с тобой

Как известно из французской песенки, море стирает на песке следы расставшихся любовников. А вечность, согласно еще более авторитетному источнику, пожирает вообще все плоды нашей деятельности. Правда, не все сразу: некоторые имеют шансы какое-то время продержаться – *чрез*, как выразился поэт, *звуки лиры и трубы*. То есть, смиренной прозой говоря, следы надежнее оставлять не на песке, а на страницах художественной литературы.

Такие следы тоже подвержены размыванию, но все-таки, как говорил мой незабвенный первый шеф, *это узе кое-что*. Хотя, конечно, сохранность и тут неполная.

Вот Чехов пишет про героиню «Анны на шее»:

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она *кокетливо прищурила глаза* и заговорила громко по-французски...

Конечно, когда это писалось, всем было ясно, как именно продуцируется такой кокетливый прищур, и тогда уже корнями уходивший в прошлое, – ведь Анне он достался по наследству:

Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски... Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое... и так же, как мать, *умела щурить глаза*, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно.

Но сам я таких прищуров что-то не помню⁹ и потому с озадаченными американскими первокурсниками: – *She screwed up her eyes coquettishly?.. Her mother knew how to screw up her eyes?!* — делюсь чем могу.

В годы моей юности (шесть десятков лет назад и столько же спустя после написания «Анны на шее») кокетливые девушки следовали мнемонической – и потому стойкой – формуле: *в угол – на нос – на предмет*. То есть сначала взгляд бросается в загадочную даль – куда-то в угол помещения, потом, под скромно опущенными ресницами, ненадолго сосредотачивается на собственном носе и лишь в третью очередь адресуется очаровываемому партнеру – *предмету*. Все это я старательно перевожу на английский (*предмет* органично мутирует в *sex object*) и не менее старательно разыгрываю в духе преувеличенной мимики немого кино. (Немое кино – еще один носитель информации, хоть как-то отсрочивающий жерло вечности! Вот где наверняка найдутся следы загадочных прищуров!) Восемнадцатилетние первокурсницы – некоторые, по калифорнийской жаре, в ультракоротких черных кружевных шортах – замороженно следят за моей актерской игрой, дивясь, к чему эти ужимки, когда с сексом все так просто.

А из моей юности, раз уж о ней зашла речь (точнее – из моей затянувшейся молодости), всплывают и словесные окаменелости, вмерзшие не в литературный, но в какой-никакой русский разговорный, слегка слэнговый, язык середины шестидесятых и вдруг оттаивающие в личной памяти, да, как выясняется, зафиксированные и в словарях, онлайн-овых и бумажных. Например: – *Там тебе один кадр густо давит косяка*.

Первые три слова общепонятны, но следующие четыре – своего рода лингвистические ископаемые. Ну *кадр*, ладно, не бином Ньютона, – потенциальный сексуальный объект, в данном случае, учитывая, что реплика была обращена ко мне, – *девушка*. А дальше? Дальше так:

⁹ Хотя, как пишет мне мой самый любимый читатель, прищур этот куда не делся, и им кишит интернет (достаточно погуглить «кокетливо прищурилась»). С другой стороны, неизвестно, отражают ли эти данные так называемую живую жизнь – или консервирующую магию литературы.

косяк – взгляд искоса; *давить* (вариант: *пулять* – из интернета, сам такого не помню) – *бросать* (о взгляде); *густо* — наречное определение к *давить* со значением интенсивности действия, то есть *настойчиво* или там *зазывно*.

Эти золотые слова, изроненные одним из моих случайных соседей по сиемизскому пляжу, были мной, ввиду хронического отрыва интеллигенции от народа, не поняты – и снисходительно мне переведены. Перевод сопровождался многозначительными кивками в сторону сидевшей невдалеке девушки приличного вида и недовольными комментариями по ее адресу: много о себе понимает, к ней некоторые уже подкатывались, но получили отлуп, может ты попробуешь.

Я подсел к девушке, которая, нисколько не прищуриваясь и не искоса, а совершенно прямо смотрела мне в глаза. Мы познакомились (она оказалась ленинградкой, и ее имя и фамилию помню до сих пор, море тут бессильно), обменялись телефонами и – попрощались: оба в тот же день уезжали.

Поскольку никакого отлупа не последовало (напротив, был добыт телефончик), к своим новым знакомцам я вернулся сильно выросшим в их глазах и вскоре был вознагражден еще одним образцом местного языкового репертуара. Ребята держались заправскими ходоками и, приняв меня в свой круг, стали в один голос хвастать свежим эротическим опытом. С особым шиком они упирали на новое для меня ключевое слово:

– Девки тут отлично исполняют. – У меня тут была одна, ну, знаешь, так еще исполняет! – Да, исполняют отлично...

Мне к этому добавить было нечего, но кредит завоеванного мной доверия такого пока и не требовал. Больше же я с ними не встречался.

А бесхитростная ленинградка в дальнейшем-таки прорезалась на моем московском горизонте и даже зашла в гости. Но никакой искры между нами не пробежало. Собственно, в моей тогдашней жизни, до краев переполненной сложными отношениями с постоянной возлюбленной, ни малейшего простора для пробежания посторонних искр не было, и история кончилась ничем. Следов на сиемизском песке, вернее сиемизской гальке, не осталось, зато обретенные там языковые реликвии до сих пор стучат в мое сердце.

Переполненность переполненностью, но неизбежные – в силу ее конфликтной природы – просветы в ней все-таки возникали, и в какую-то из особо вместительных лакун идеально уложился целый небольшой роман с прелестной юной специалисткой по как раз входившему в лингвистическую моду африканскому языку.

Цитировать собственные юношеские стихи – последнее дело, разве что в качестве занимающих нас здесь свидетельств лиры и трубы. Вот они:

Я стал завсегдатаем всех пашлычных,
Хожу по ресторанам и по барам.
Это для меня теперь привычно —
У меня красotka с Занзибара!

У ней отец полковник МГБ,
Они живут над магазином «Рыба».
А мне плевать – такой отличной бэ
Я не встречал повсюду, где б я ни был.

Теперь купить я должен «Кадиллак», —
Она сказала сухо: «Или – или!»
Я без машины для нее босяк — ой-вей! —

Владеющей свободно суахили!

Ну, стихота в определенном жанре, на популярный тогда блатной мотив. С формой автор справляется едва-едва, иной раз в ущерб фактам, но кое-какие приметы времени налицо. Честолюбива разве что система рифмовки, по-северянски ориентированная на эффектные варваризмы, в частности имена собственные. Но перейдем к построчному комментарию.

Завсегдатаем всех – неуклюжий оксюморон, скорее всего, приплетенный для размера: нельзя быть завсегдатаем одновременно всех таких заведений; неуклюж и повтор: ...*все... все...*

Шашлычных – шашлычные в то время стали важным очагом неофициальной гастрономической культуры; две были особенно популярны у московской интеллигенции: одна на Старом Арбате («Риони»), другая на Б. Никитской (ул. Герцена), рядом с кинотеатром повторного фильма.

По ресторанам и по барам – с моей стороны наглое хвастовство; к тому же очевидный диссонанс с шашлычными. Зато неплохая «заграничная» рифма, готовящая ударную рифму 4-й строки.

Это для меня теперь привычно – опять безосновательная похвальба, оправданная разве что стилистикой блатного романса. В рестораны, бары, кафе, шашлычные, хашные, сушные, пельменные и т. д. вхожу до сих пор с некоторым трепетом.

У меня красotka с Занзибара – а это, хотя и хвастовство, но искусно укорененное в фактах. Сначала несколько слов о его риторике, а потом – о фактической подоплеке.

Занзибар(а) – первый из роскошных варваризмов стиха, звучное четырехсложное слово, название легендарного острова, вернее архипелага, у берегов Африки¹⁰. И *красotka с Занзибара* источает манящую гумилевско-парнасско-бодлеровскую ауру, приписывая лирическому «я» связь с экзотической туземкой, вроде той же «Малабарки» Бодлера. Неужели, правда?

Я тогда занимался малоизвестным у нас африканским языком – сомали и в этом качестве на полставки работал в соответствующей редакции Московского радио, где и повстречал иногда появлявшуюся там выпускницу Института восточных языков при МГУ, только что вернувшуюся с практики, каковую она проходила на Занзибаре, как раз в 1964 году получившем независимость и сразу же вошедшем в состав Танзании, тогда одной из беднейших, зато с социалистическим уклоном, стран мира.

Так что в каком-то – очень условном – смысле она была-таки *с Занзибара*, что же касается *красотки*, то это опять преувеличение. (Как говорится в анекдоте про новую жену: *На вкус на цвет товарища нет, лично мне не нравится*.) Красotka – нет, но молодая, живая, краснощечкая, со смешным острым носом и по-птичьи широко расставленными глазами. Мы какое-то время переглядывались, потом познакомились, и одной из ее первых реплик было: «Смотрю, идет Жолковский – как всегда, животом вперед!..» Такое я слышал впервые, обратился к знакомым за независимым мнением, и оказалось, что да, несмотря на удобу и высокий рост, ходил именно так.

У ней отец полковник МГБ — терминологическая неточность, поскольку дело происходило в середине шестидесятых, а название МГБ использовалось с 1946-го по 1953-й, когда это зловещее министерство было переименовано в МВД, а в 1954–1991 оно называлось уже КГБ; но у меня в тексте почему-то фигурировало именно МГБ. Отец милейшей африканистки действительно служил в органах в чине полковника, а в каком отделе и на каких ролях, не помню, да, кажется, не полюбоствовал и тогда. Определенный кайф от связи с представительницей

¹⁰ Как сообщает мой проницательный читатель, рифма *Занзибара/бара* была опробована еще в 1922 году – Брюсовым («Сегодня»), но я в своем блаженном неведении набрел на нее совершенно самостоятельно.

властного сословия я, бесспорно, испытывал, что слышится и в моей песенке: блатной герой напропалую гуляет с начальнической дочкой! Кстати, хотя железный занавес в те хрущевские годы слегка приподнялся, выездными стали в первую очередь «свои» – цековские, кагэбэшные, мидовские... Так что для языковой практики на Занзибаре не мешало иметь правильное происхождение.

В плане рифмовки отметим появление мужской рифмы, аккомпанирующее вступлению роковой темы репрессивных органов.

Они живут над магазином «Рыба» – еще один зарифмованный топоним, хотя и не иностранный, но тоже символизировавший завидное социальное положение. Магазин «Рыба» № 1 располагался в самом центре Москвы, на улице Горького (ныне Тверская), напротив Елисеевского, рядом с Моссоветом и наискосок от памятника Юрию Долгорукому, в доме сталинской архитектуры, населенном отборной столичной публикой. Я там пару раз побывал и однажды познакомился с младшим братом моей африканистки, тоже учившимся на востоковеда. Знакомство началось со страшного конфуза: к полнейшему удивлению этого представителя совершенно уже молодого поколения, я оказался столь несведущим в джазе, что даже не слышал имени Дейва Брубека и не знал его знаменитого «Take Five» (1959).

А мне плевать – такой отличной бэ Я не встречал повсюду, где б я ни был – рифмы ничего себе (игра с аббревиатурами на б), в остальном же наглая блатная ложь. Красотка была веселая и, в духе шестидесятых, раскованная, но совершенно, что называется, порядочная и ко мне относилась с трогательной нежностью. Я же, со своей стороны, нигде особенно не был, никаких б. от роду не знавал и сексуально был, как бы это сказать, не взрослее нее. Единственное оправдание – опять-таки жанр. (Ну и то, что песенка ей нравилась.)

Теперь купить я должен «Кадиллак» – еще одно шикарное имя собственное и еще одна выдумка в духе *титularный советник vs. генеральская дочь*.

Она сказала сухо: «Или – или!» – ничего подобного она не говорила, условий не ставила, категоричностью не отличалась. Зато какое фонетическое предвестие финальной рифмы!

Я без машины для нее босяк – тоже чистая риторика. Хотя, если покопаться в памяти, то как-то потом, когда мы уже – исключительно по моей вине – расстались и она зашла за какими-то своими вещами, на прощанье она сказала: «Да, и если решишь начать новую жизнь, начни ее с чистых простынь». Босяк он и есть босяк, никуда не денешься.

Владеющей свободно суахили – она им таки да, владела, и этому владению моя заключительная строка отдает должное изощренной – матлингвисты сказали бы непроективной – синтаксической структурой (...*для нее босяк – ой-вей! – владеющей...*) и, конечно, каламбурной подготовленностью вынесенного в финал профессионального лейбла героини. К тому же вызывающе письменный причастный оборот в очередной и последний раз напрягает контраст между блатным босяком и знающей языки генеральской дочкой.

Что еще сказать? Почему я ее оставил? Можно, конечно, пуститься в рассуждения о временности лакун/просветов в магистральной линии моей тогдашней личной жизни, но лучше ответить с хемингуэевской прямоотой. Когда старика Хэма спросили, почему он бросил Хэдли с маленьким сынишкой, он выразился в стиле собственной прозы: «Because I was a bastard».

(Кстати, в свою прозу я прекрасную занзибарку потом вставил, скрестив кое с кем еще, – в виде беззащитной Саночки, героини «Бранденбургского концерта № 6».)

Игналина

Это была, выражаясь по-достоевски, совершенно непреднамеренная, ничем – кроме набора отрицательных свойств – не примечательная, но незабываемая туристская вылазка. Скромный байдарочный пробег по озерной жемчужине советской Прибалтики, в котором все было неправильно – и неповторимо, хотя вспомнить, вроде бы, нечего.

Нас поехало четверо, причем трое практически незнакомых друг с другом. Связаны все были через меня, но возглавил команду не я, а мой кузен Андрей, физтеховец и настоящий спортсмен – турист, альпинист, яхтсмен, you name it.

Идея, правда, была моя: у меня образовался очередной пробел в личной жизни, никакая женщина ее не заполняла и, соответственно, над ней не нависала. Я был полностью свободен и задумал отправиться куда-нибудь на байдарке с кем придется.

Первым откликнулся мой умница-аспирант Саша Чехов, тогда еще не женатый на очаровательной Оле и, значит, ни к чему не привязанный.

Следующей я уговорил Нинулю Перлину, бывшую питерскую богемщицу, а в то время уже москвичку, нерадивую сотрудницу нашей Лаборатории, недавно разведшуюся со своим первым мужем, но пока что не вышедшую за него вторично (*sic!*) и таким образом временно неприкаемую.

Но троих было многовато для моей изящной двухместной польской байдарки, и за людьми, лодками и идеями я обратился к Андрею, который, случайно оказавшись не занят никакими серьезными спортивными делами, неожиданно взял да и присоединился к нашей несолидной компании со своим выдавшим виды «Салютом».

Ни до этого, ни после ни в каких походах или иных подобных совместных акциях я ни с кем из них не участвовал. С Андреем мы, несмотря на исходное родство (и его женитьбу на одной из сотрудниц нашей Лаборатории), никогда не были по-настоящему близки. С Нинулей знакомство было светское и чисто дружеское (продолжившееся в эмиграции, хотя они с Костей жили в Нью-Йорке, а я в Лос-Анджелесе), не осложненное амурными обертонами.

Саша Чехов, по изгнании меня из Иняза, защищал диссертацию у кого-то еще, но никак меня не предал, и мы всегда оставались в прекрасных отношениях. (Когда в 1968-м меня в Институте травили за подписанство и пытались – тогда безуспешно – уволить, к нему подъезжали с угрозами, соблазнительными предложениями и призывами что-нибудь такое идеологическое на меня донести, и он спросил меня, как ему быть, на что я ответил, что перед ним стоит тот же вопрос, что и перед людьми доброй воли во всем мире, он усмехнулся, кивнул, и на этом дело кончилось.) Отношения были прекрасные, но опять-таки дистантные, без приятельства.

Познакомились все через меня, но практическую организацию, как было сказано, взял на себя Андрей. Игналину предложил он, что брать и куда ехать, сказал он, мы встретились уже в поезде и, выгрузившись под вечер на намеченной им станции, разбили недалеко от нее временный лагерь, не помню, одну или две палатки, – все под его руководством. А утром под его же руководством докупили в местном турцентре все, чего нам не хватало, собрали байдарки (собирать мою изысканную, с деревянным корпусом, поддувными бортами и трехслойной резиной, штучку не на свой страх и риск, а под его началом было облегчением) и стали, готовясь к отплытию, снимать палатки. Тут Нинуля подала свою гениальную реплику туристической инженю:

– Как? Все рушить?!

Мы отплыли – насколько помню, мы с Сашей, а Нинуля с Андреем, – и так проплавали, без тревог и приключений, все отведенное время. Какое – несколько дней или целую

неделю – не помню. Где побывали, что ели, были ли ягоды, и если да, то какие, какой это был месяц и год – ничего не помню.

Поездка прошла на удивление беспроблемно. Нами не предводительствовал неугомонный Мельчук, неизменный вождь наших турпоходов, вечно желавший «пройти» немеряное количество километров и часто заводивший на зады каких-то производств, в запретные зоны и иные тупики. Андрей сразу проявил снисходительное понимание к неамбициозности нашей безнадежно любительской операции, расслабился и стал получать удовольствие. Наш спортивный замах был для него, конечно, игрушечным, и иногда я, очнувшись утром после здорового сна, обнаруживал, что его нет, а через какое-то время он подплывал и признавался, что, встав давным-давно, уже отмахал на своем «Салюте» десяток километров по игналинской глади.

Саша Чехов, к почтительной немногословности которого в роли ученика-аспиранта я давно привык, на водных просторах предстал неиссякаемым остряком высшего класса, и я охотно признал его первенство, полностью освобождавшее меня от этого ампула. «Саша, я вижу, прекрасно породит все ожидающиеся от меня остроты, так что мне можно не беспокоиться», – сказал я, существенно умолк и стал наслаждаться солнцем, воздухом, водой и полнейшей безответственностью.

Нинуля без труда вошла в роль прекрасной дамы и сестры-хозяйки, окруженной вниманием мужчин. Держалась, несмотря на полную непривычность к туристскому быту, уверенно и вскоре стала называть Андрея Андрейчиком и повелевать им в своем божественном духе. Но, что примечательно, никаких романов ни тогда, ни потом у нее ни с кем из нас не возникло. И в этом отношении, как и во всех остальных, отличительной чертой игналинской поездки осталось последовательное «не».

Вернулись мы без происшествий, всем довольные, но повторить этот опыт никогда не пытались. Он остался каким-то нетронутым островком счастья – без забот, без свойств, без акциденций.

А потом, конечно, реальная жизнь, полная того-сего, вступила в свои права.

После серии недолгих увлечений я опять женился, был уволен с работы как диссидент, перешел на другую, где не делал практически ничего, оттуда уехал – в Вену, Амстердам, Итаку, Лос-Анджелес, еще раз развелся и после пары серьезных романов снова и окончательно женился.

Андрей развелся с моей коллегой, женился на давней возлюбленной – страстной брюнетке, после перестройки не вписался в новорусский капитализм, со страстной, но и очень деловой брюнеткой развелся, а потом и умер, оставив двух сыновей, со старшим из которых мы дружим.

Саша Чехов вскоре после Игнарины женился на прелестной Оле, у них пошли дети, но с работой становилось все труднее, поскольку и Мельчук, и я, да и почти вся компания поужезжали на Запад, и Саша с Олей начали задумываться о том же, но попросту эмигрировать не хотели, и тогда Мельчук организовал для них комбинацию по известной схеме, когда супруги в СССР разводятся, потом фиктивно (за мзду, на которую тот же Мельчук устроил сбор денег – и Саша нам их в дальнейшем вернул) вступают в брак с приезжими иностранцами, выезжают с ними за границу (в случае Саши и Оли – в Швецию), там разводятся, переживают обратно и живут happily ever after.

Нинуля в дальнейшем вышла за Костю, он уехал Штаты, звал ее с собой, она в конце концов приехала, сначала принялась важничать и салонничать, но потом устроилась на службу. Костя зарабатывал, как раньше в Совке, бесконечными переводами, надорвался и умер, не дожив до шестидесяти. Их дочка ударилась сначала в католичество, а потом в иудаизм и вышла замуж за талмудиста-хасида, после чего к хасидизму припала и светская Нинуля, так что во время моего очередного (уже четверть века назад) визита в Нью-Йорк я был строго отчитан за нарушение кошерных правил обращения с посудой, а когда стал извиняться, клянясь, что в сле-

дующий раз исправлюсь, то услышал: «Откуда вы знаете, что будет следующий раз?!» – и его с тех пор так и не было.

По сравнению со всем этим Игналина была абсолютным нулем, zero, пустышкой, но какой безоблачной!

На старом филфаке

Владик Е

Владик был высокого роста, весь какой-то гладкий, симпатичный, с располагающим округлым, очень русским, немного простоватым лицом, живыми глазами и слегка оттопыренными ушами, по которым его можно было узнать даже сзади. (Знатоки театра вообще уверяют, что самое выразительное у актера – спина.)

Его старший брат уже печатался, кажется, в «Крокодиле», и у Владика тоже были писательские планы. Что-то такое он, видимо, писал и даже куда-то подавал, хотя бы в тот же «Крокодил», но, видимо, пока безуспешно. Потому что его невеста Анюта (с фамилией тоже на Е., но другой), тоже высокая, но очень худая, прямая и без претензий на красоту, тревожно делилась с подругами:

– Много денег уходит на бумагу и копирку. А еще неизвестно, окупится ли.

В ожидании большой литературной славы Владик публиковался непосредственно на факультете – в стенгазете «Комсомолия». Однажды там появились его стихи, в которых фигурировали голубые глаза возлюбленной – надо полагать, Анютины. Этих стихов я не помню, но тогда они не прошли незамеченными. В очередном номере «Комсомолии» им была посвящена издательская пародия, принадлежавшая тандему остряков двумя курсами старше нас – Станиславу Рассадину, в будущем известному критику (1935–2012), и его приятелю (Евгению?) Мартюхину, которые подписывались сборным псевдонимом *Братья Рассартюхины*.

Их пародии тоже не помню, но помню вскоре последовавшую – не уверен, помещенную в стенгазете или оставшуюся устной, – ответную эпиграмму Владика:

Вами тонко подмечено, что я не Бальзак,
Но и вам не попасть в хрестоматии.
Оставьте мне *голубые глаза*,
А сами катитесь к рассартюхиной матери.

Удар наносился с умеренной оттепельной раскованностью – ниже пояса, а впрочем, по сугубо метафорической матери.

То была начальная пора турпоходов, овеванных особой духовной аурой. Я ходил более или менее регулярно и однажды попытался залучить Владика, с которым приятельствовал. В ответ я услышал:

– Группа импотентов собирается в лес, надеясь, что от этого что-то изменится.

Эта афористика не была бескорыстной. Кажется, именно в те выходные Владик и увел прелестницу Иру М. у другого моего приятеля, высоколобого Вадима Р., в поход отправившегося.

Наряду с сексом, Владик не имел ничего против и других новооткрытых утех – выезда на природу, ночного купанья голышом, компанейского трепа у костра и т. п. В турпоходах его не устраивала именно их интеллигентская программность. Дело было не в каком-нибудь там почвенничестве, просто ему была дорога осязаемая конкретика жизни, здоровый баланс между *realia* и *realioga*, то, что полвека спустя получило четкую формулировку: «Кушать – да, а так – нэт».

Навсегда запомнился тост, который он поднял однажды вечером на берегу подмосковного водохранилища (в бухте Радости!), где мы жгли костер и выпивали под принесенные с дачи и обжаренные на огне сосиски:

– Выпьем за то, чтобы у каждого аргентинского рыбака (бразильского скотовода) был такой ужин (завтрак)!

Стоял 1955 год, советские клише уже порядком поизносились, но Аксенова еще и в помине не было, и тост Владика прозвучал вполне новаторски.

В бухте Радости мы оказались не совсем случайно. Прибыли мы туда в результате небольшого – не побоюсь этого слова, туристского – марш-броска с берегов Клязьмы, где в Челюскинской мы с папой снимали дачу (впервые без умершей осенью 1954-го мамы), а в соседней Тарасовке Владик проводил лето в гостях у нашего общего сокурсника Володи.

Володя, сын знаменитого университетского русиста профессора К., был со странностями. Так, он часто сбегал из дому, что серьезно беспокоило родителей, и они придумали оригинальный выход – пригласили жить у них на даче его приятеля, Владика, чтобы Володе не нужно было искать раскрепощающей молодежной компании на стороне. Прямо под бок к Тому Сойеру поселили Гека Финна – и побеги прекратились. Для Владика же это означало безбедную дачную жизнь на всем готовом.

Профессор К. был очень старый (хотя, согласно Википедии, ему было всего 56!), совершенно лысый, если не считать седины на висках, и провербиально рассеянный.

– Катя, – обращался он за столом к жене, маленькой заботливой женщине откровенно крестьянского вида (не исключено, что обретенной в ходе диалектологической экспедиции), беспомощно шевеля перед лицом пальцами обеих рук и потерянно бегая глазами, – Катя, ты не знаешь, я сахар в чай клал?!

Она обычно знала. Думаю, что и идея одомашнения сына с помощью Владика принадлежала ей. Но, отчасти блокируя Володину тягу прочь, этот маневр не мог подавить ее окончательно, и потому поощрялись кратковременные вылазки в дикую степь, иной раз даже с ночевкой, но при непременно стабилизирующем участии Владика. Отсюда памятный костер над бухтой Радости.

По окончании Университета наши с Владиком дороги разошлись, и я ничего не слышал о нем до тех пор, пока тридцать с лишним лет спустя, уже в ходе перестройки, начав наезжать из эмиграции в Москву и пытаясь издать там книжку статей, не оказался очередной раз во дворе издательства «Советский писатель». Визиты туда были многочисленными, изматывающими и в основном бесплодными. Таким суждено было стать и этому. Но начался он обнадеживающе.

Еще издали, с улицы, я увидел подходившего к самым дверям здания высокого полного мужчину в пальто и кепке и мгновенно – по ушам – узнал его.

– Владик! – заорал я.

Он обернулся, подождал меня, мы обнялись, я рассказал ему, что я тут делаю, он мне – что делает он, а именно заведует отделом, если не ошибаюсь, прозы. Он завел меня к себе в кабинет, обещал поспособствовать выходу моей книги, а на прощанье достал из ящика стола и протянул мне средней толщины пейпербек.

– Вот, – с винтажным юмором образца 1955 года произнес он. – Пользуясь служебным положением, издал плоды своего творчества.

Выходило, что бумага и копирка окупилась.

Костюмы

Когда я учился на филфаке (1954–1959), носили, в общем, что попало. Но какой-то дресс-код, конечно, действовал. Так, я успел походить в шляпе – серой, фетровой, с полями, тульей и черной лентой вокруг. Есть даже снимок, где я в шляпе, но как бы не сам по себе, а под маской: изображаю своего сокурсника Вадима Р., на котором шляпа, да еще и черный костюм в полоску смотрелись органично.

Преподаватели, разумеется, носили костюмы, хотя на некоторых, наиболее одиозных, это выглядело непристойно, как фрак на капитане Лебядкине. Но на других, например на Николае Ивановиче Либане, темно-синий костюм, до блеска начищенный временем, скорее радовал глаз, самой своей потертостью удостоверяя компетентность владельца в вопросах литературной истории прошлого, ныне позапрошлого, века.

На студентах же костюмная пара (о тройках речь не заходила) была редкостью. Недаром послевоенному английскому роману «Трое в серых костюмах» (1945, пер. 1946) был противопоставлен наш, советский, «Трое в серых шинелях» (1948). В шинелях и гимнастерках ходил уже мало кто, может один-два студента, поступившие по некой партийно-солдатской квоте (в частности, Яша П., герой моей давней винюетки «На словесном фронте»), остальные же драпировались кто во что горазд, в частности в разного рода спортивные и полуспортивные куртки, иной раз по-шоферски, а то и по-пилотски кожаные. Модными же были куртки с кокеткой, зигзагообразно облекавшей плечи материей другого цвета. У меня одно время была такая. Носились, разумеется, и пиджаки, но полный одноцветный комплект – это было что-то особенное. Я бы сказал, что костюм взрослил и даже заранее старил своего носителя. Иногда это делалось намеренно, иногда неосознанно, но эффект преждевременной солидности был налицо, как если бы человек уже с младых ногтей видел себя готовым функционером истеблишмента.

Вспоминаются трое таких костюмоносцев.

Вадим Р

У Вадима был черный костюм в пунктирную белую полосу, который очень ему шел. Желанная аристократичность такого одеяния зафиксирована в полублатных студенческих куплетах, которые я однажды уже приводил:

Я от МГУ, а ты от Чили,
Мы были на приеме у Черчилля.
У него бостон в полосу
И вообще он парень в доску, —
Где они такого зацепили?!

Не то чтобы на Вадиме костюм сидел ладно, как влитой, – нет. Вадим горбился, правое плечо было выше левого, он был высок, но узкогруд, держался угловато, накладные плечи неровно торчали, но весь этот ансамбль ощущался как правильный, узнаваемый, соответствующий некоему эталону. У Вадима были гнуче черные волосы, богемно свисавшие на лоб, желтоватая нездоровая кожа, нос крючком, на котором сидели сверкающие золотом очки. В целом возникал образ по-своему красивого еврейского интеллектуала-оратора времен гражданской войны, готового то ли быть казненным революционной толпой, то ли повести ее за собою. Ораторствовать же он любил – энергично жестикулируя и пересыпая речь особыми излюбленными словечками, из которых помню два: *достойный* и *карамбулет*.

Эпитет *достойный* применялся ко всему, что заслуживало одобрения, будь то в литературной и политической истории или окружающей жизни, а речь Вадима систематически строилась именно на дебатировании *pro et contra*, раздаче плюсов и минусов, определении, кто достойный, а кто недостойный.

Карамбулет же был, по-видимому, неологизмом – плодом мутации в мужской род Карамболины-Карамболетты, героини арии из оперетты Кальмана «Фиалка Монмартра» (в которой блистала еще молодая Татьяна Шмыга). Карамбулетом назывался любой мужчина (друг моего детства Женька Зенкевич культивировал в таком обобщенном значении

слово *спортсмен*), а далее, уже в порядке полета словотворческой фантазии, любой сексуальный, карьерный или иной успех.

Любимым оборотом речи у Вадима было, соответственно, словосочетание *достойный карамбулет*. Это звание могло присваиваться как свежесоткрытому им научному авторитету («А что, Владимир Пропп был достойный карамбулет?!»), так и, в качестве рекомендации, какому-нибудь новому кандидату в члены нашей филологической компании.

Старила ли Вадима черная пара? Думаю, да – несмотря на его бурную словесную энергию и замашки неутомимого спорщика. Он происходил из профессорской семьи, и это было видно, костюм он носил если не отцовский, то, скорее всего, в подражание отцу или кому-то из старших. Интеллектуальные же его интересы, при всей их внешней дискуссионности, несли неизбывный отпечаток прошлого – к моему удивлению, его, как и многих ему подобных, занимали тонкие извивы безнадежных идейных баталий двадцатых годов.

После окончания Университета, а тем более уехав в эмиграцию, я надолго потерял его из виду. Задним же числом оказалось, что он, конечно, стал доктором наук, но не филологических, а философских, профессором, автором сотен работ по социологии, с вольнолюбивым по тогдашним временам троцкистским уклоном. В этих тщательно эксгумированных и реанимированных спорах опять побеждали то Троцкий, то Бухарин (а теперь – surprise! surprise! – верх опять постепенно берет Сталин), но трупного запаха это не перебивало.

Вадим умер в пятьдесят с небольшим. Дуплет в угол, желтого в середину...

Игорь Ч

Кроме самого костюма, никакого компромата у меня на него, собственно, нет. Игорь, тоже мой однокурсник, учился на славянском отделении и смотрелся очень положительно. Он был среднего роста, полноват, с головой, откинутой назад, высоким лбом и вообще открытым, располагавшим к доверию лицом, с его красноватой, как бы обветренной кожей.

Костюм у него был синий, галстука он не носил, а пиджак был часто нараспашку, что подчеркивало внушавшую доверие свойскость. Но свойскость характерного двойного сорта – по принципу слуга царю, отец солдатам.

С первого же курса Игорь стал занимать более или менее ответственные посты, типа комсорга группы, потом курса, а потом, может быть, и секретаря комсомольской организации факультета. В то же время он был своим, ну или полу-своим, и в наших неофициальных компаниях, турпоходах и пьянках. И ни в чем таком нехорошем, доносительском или проработочном замечен, вроде бы, не был. Откуда же у меня непреодолимое желание все-таки закопать его в этом его – даже и не черном – костюме?!

Добавить мне практически нечего. Разве что еще одну деталь его, как теперь выражаются, телесного костюма. Все ходили кто с портфелями, кто со спортивными чемоданчиками, редкие оригиналы (вроде моего будущего соавтора Мельчука) – с рюкзаками, а мой наиболее элитарный сокурсник, сын советского посла в ООН, иногда появлялся с «дипломаткой» – плоским черным эффектно защелкивающимся кейсом. Игорь же запомнился с папкой – коричневой, кожаной, складной и без ручки, так что носить ее приходилось, старательно обхватив рукой, то впритык к правому бедру, то слегка на отлете. Таким он и остался в моей памяти: синий костюм нараспашку, голова, вдохновенно закинута назад, и парящая в воздухе папка, – воплощенный образ открытости и доверия, но неотвратимо ассоциирующийся с формулой «К докладу», которая украшала всякого рода специальные служебные папки тех времен.

Владимир Л

Обозначаю его так ради единства стиля, в жизни же он существовал для меня сугубо по фамилии и в 3-м лице; при единственной личной встрече на факультете я не обращался к нему ни по имени, ни по имени-отчеству, а исключительно на очень сухое вы. Дело в том, что он был старшим и по возрасту, и по положению: я был вызван к нему как секретарю комсомольской организации факультета для небольшой дисциплинарной проработки.

До тех пор я знал его лишь издали. Не заметить же его было невозможно: мужчин на факультете было раз два и обчелся, а его облик, при всей подчеркнутой скромности, запомнился сразу.

Он был среднего роста, в коридорах филфака на Моховой держался тихо, молчаливо, даже бочком, и одет был в черный костюм, отдававший каким-то монашеским постригом. Одним его пасторская мина внушала почтение, на других, в частности на меня, навевала априорную скуку. Постность его общего вида усугублялась монотонной чернотой одежды, ибо под пиджаком он носил не рубашку, а черную, в лучшем случае темно-серую, косоворотку.

Не нарушала этой постности даже незабываемо яркая черта его внешности – его огромной величины нос. Причем не только огромной величины, но и вызывающе причудливой формы. В середине он изламывался чуть ли не под прямым углом, намертво врезаюсь в память всякому, однажды его увидевшему. И немедленно приводил на ум не столько Сирано де Бержерака, сколько герцога Урбинского Федерико де Монтефельтро, но, повторяю, странным образом не вступал в противоречие с постной скромностью персонажа. Я долго размышлял над этим парадоксом, и, думаю, секрет в том, что чудовищный нос не выделял и отличал, а, напротив, подавлял, укрощал, смирял своего хозяина.

А дело, по которому я был призван пред его строгие очи, вспомнить забавно, поскольку это была, пожалуй, одна из самых ранних, но вполне типичных для меня историй. Ввиду малочисленности мужского контингента филфака и благодаря своему приличному росту я на первом же курсе стал одним из шести игроков с трудом набранной волейбольной команды, вот не помню, курса или факультета. На тренировки надо было ездить на Ленгоры, в новое здание МГУ, где поздно вечером нам предоставлялось время и место. Играл я так себе, но не хуже других, если не считать нашего капитана, заядлого спортсмена, зато на тренировки являлся с образцовой исправностью (в порядке, если угодно, целительного прикосновения к спортивной почве бытия). Но остальные когда являлись, а когда и нет, так что иной раз мы с капитаном оказывались вдвоем и тренировка срывалась. В первый раз я поворчал, во второй заявил, что следующий такой случай будет для меня последним, после третьей коллективной неявки, верный своему слову, ходить перестал, и команда прекратила свое полупризрачное существование. Тогда капитан пожаловался в комитет комсомола, и я был вызван на ковер.

Для роли секретаря комсомола В. Л. годился не очень. Возможно, у него не было выбора – за прием в аспирантуру приходилось расплачиваться (в свое время он вступил и в партию). Так или иначе, в ходе нашего тет-а-тета, состоявшегося в обшарпанной комнатке на третьем этаже, он не стал орать на меня, угрожать отправкой в колхоз и исключением из комсомола, а прибег к тактике убеждения, видимо, положившись на разницу в возрасте и свое интеллектуальное превосходство. Что говорило в его пользу – до известной степени.

Он стал строго отчитывать меня за нарушение дисциплины и даже измену долгу перед командой, курсом, факультетом и чуть ли не комсомолом вообще (к верности интересам всего прогрессивного человечества он апеллировать все-таки не стал), я же скупающе указывал на свое превосходство перед коллективом именно по линии дисциплины, а что касается священной обязанности защищать волейбольную честь факультета, то я великодушно соглашался в команду вернуться – при условии, что нерадивые ее члены принесут мне в его присутствии

формальные извинения и торжественно поклянутся тренировки больше не пропускать. Осознав, что его риторический потенциал исчерпан, он отпустил меня, ограничившись устным выговором. (Настоящий выговор, с занесением в личное дело, сыгравший более серьезную роль в моей судьбе, я получил позже, на пятом, выпускном, курсе, о чем я уже писал.)

Успешно окончив аспирантуру, В. Л. стал в дальнейшем одним из ведущих критиков «Нового мира», умело отстаивавших на его страницах ценность сочинений Солженицына с помощью обильных цитат из Ленина и раннего Маркса. Солженицын читался взахлеб, а эта дежурная эзоповская занудель – со сводящей рот скукой («Скулы и зубы», – говорила в таких случаях одна из моих будущих жен).

Но вернемся на спортплощадку, а заодно и к теме дресс-кода. У колыбели нашей волейбольной команды стоял Игорь К., личность по тем временам не совсем стандартная. На факультете он появился неожиданно, откуда-то со стороны, то ли поступив позже нас, то ли переведясь из другого вуза, то ли, не исключая, приехав из-за границы, где жил с высокопоставленными родителями. (Ходил слух, что он чей-то там сын – чуть ли не замминистра образования или культуры.) Он был высокий, статный, но по-спортивному нарочито сутулившийся, с красивыми, характерно пустоватыми чертами лица – гладкой кожей, твердым носом и большими ясными глазами опытного сердцеда. На тренировки, а иной раз и на факультет являлся в шикарном олимпийском костюме с лампасами.

Волейбол был, по-видимому, единственным, что связывало его с нашим неспортивным факультетом, и эта странная связь запечатлелась в его фразе а ля Бендер, тотчас вошедшей в мою виртуальную коллекцию (и не сразу возведенной к главе III «Золотого теленка»). Заглянув в читалку на втором этаже, Игорь вызвал меня в коридор и, победительно поигрывая мячом, стал договариваться о тренировках.

– Во вторник не могу, – сказал я. – Санскрит.

– А там строго? – деловито спросил он.

– Да нет, это факультативно.

– М-да, – протянул Игорь. – Печально наблюдать в среде филологов такие упадочнические настроения – санскрит и прочее...

Л. дожил до горбачевских реформ, но не до их бесславного конца – конца посылки. Мне довелось увидеть его в последний месяц его жизни – на международной конференции в Париже, посвященной столетию Маяковского. Он не выступал, присутствуя в молчаливой роли рядового слушателя. Конференция же была шумная. Маяковского рвали на части, кто за, кто против, Александр Кушнер произнес провокационный доклад о грузинском, читай – сталинском, акценте как основе его рубленой ритмики. По возвращении в Москву В. Л. умер, всего шестидесяти лет, автором многих книг, доктором наук, даже академиком, правда не РАН, а РАО.

А следы нашего капитана, если уж держаться ильфопетровского лексикона, потерялись. Жаль – любопытно было бы узнать, в какой области и сколь по-чемпионски сложилась его карьера.

Die Söhne

Немецкий я знаю плохо. Вместе со всей страной как-то не любил его с детства, не любил и в дальнейшем.

Зато французский учил любовно. Сначала сам, разбирая со словарем – по абзацу, затем по странице, а там и по главе в день – «Хронику времен Карла IX» Мериме в советском издании. Потом, уже на филфаке, – взяв, вдвоем со Щегловым, факультативный курс разговорной речи (имя-отчество веселой пожилой преподавательницы, к стыду своему, забыл, но ее интеллигентное лицо в очках, хриплый голос и безостановочное, папирота за папиротой,

курение прямо в классе вспоминаю с удовольствием). Потом – прочитав от корки до корки пять из шести томов мемуаров Казановы (все, какие были в «буке» на Никитской) и «Исповедь» Руссо (в странном, уже тогда более чем столетней давности издании, с огромными, в два столбца, журнальными страницами мелкого шрифта, найденном в библиотеке Иняза им. Мориса Тореза, где я как раз начал работать). И наконец, на рубеже семидесятых – из уст в уста от попавшей в мои сети прелестной российско-болгарской франкофонки, которая была в полтора раза моложе, но уже втрое умнее меня.

Немецкому же не повезло. Для нас, англистов, он был обязательным, и мы, опять-таки вдвоем со Щегловым, были определены к сравнительно молодому, но уже облысевшему очкарику, доценту Б. Занятия эти как-то сразу не пошли. Обязательность уроков нас угнетала, Б. наводил скуку, мы его, наверняка, тоже раздражали. К тому же все строилось на чтении удручающе официозного романа «Сыновья» гэдээровского писателя Вилли Бределя – второй части его трилогии «Родные и знакомые» (первую предсказуемо составляли «Отцы», третья – «Внуки»).

Текст был унылый, язык казался противным, преподаватель – занудой; мы ленились, опаздывали, пропускали занятия, может быть даже жаловались, он, возможно, не оставался в долгу, и в конце концов его от нас забрали. Но обязательности курса это никак не отменяло, и несчастному Б. была подыскана замена – жизнерадостная, пышнотелая и розоволикая брюнетка Инна, цветущая молодая жена престарелого факультетского льва – завкафедрой языкования З.

Она являла предельный контраст к бездушно забракованному нами Б., и мы не могли на нее нарадоваться. По специальности она оказалась скандинависткой (а мы оба тогда увлекались древнеисландским, Юра же потом выучил и шведский), по возрасту была гораздо ближе к нам и, как мы вскоре установили экспериментально, отличалась крайней смешливостью. Пропускать занятия мы перестали, бездельничать же продолжали, и никакой управы на нас у нее не было. В ее распоряжении оставался единственный аргумент – маячивший в конце курса экзамен.

– Мальчики, – нараспев убеждала она нас, – ведь там буду не только я, там будет целая комиссия. Вы же ничего не учите. А там надо будет и переводить на русский, и пересказывать своими словами по-немецки. Как вы будете сдавать?

– Не бойтесь, И. Г., – реготали мы в ответ, – все сдадим, все до последнего слова.

И вот наступил день экзамена. Накануне вечером мы с Юрой встретились у меня, приготовив каждый по тысяче карточек с немецкими, а на обороте русскими словами – весь дотоле незнакомый нам словарь к подлежавшей сдаче сотне страниц «Die Söhne». Гоняя друг друга по карточкам, мы за несколько часов вызубрили все слова и спокойно разошлись спать. Перевод был таким образом обеспечен, для пересказа же своими словами у нас было заготовлено секретное оружие.

Пресловутая комиссия оказалась состоящей из нашей любимой Инны и все того же Б. Первым отвечал Юра. Он легко перевел фрагмент из Бределя и приступил к пересказу.

Нашим секретным оружием была нехитрая идея, сводившаяся к тому, чтобы на месте выучить заданный кусок наизусть, но не отбарабанить его по-идиотски одним духом, а как бы симпровизировать, породить из ничего на глазах у комиссии – раздумчиво, слегка спотыкаясь, в немного ином порядке, с паузами и даже пропусками, в общем, вот именно пересказать своими словами.

И вот Юра двинулся в этом направлении, я же стал, затаив дыхание, следить за ним по лежавшей передо мной книге. Все вроде бы шло чин чинарем, как вдруг случилось непоправимое. Приближаясь к концу пересказываемого абзаца, Юра пропустил ровно одну строку, через которую, видимо, перескочил при заучивании – такое бывает. Ну, казалось бы, пропустил и пропустил, ведь пропуски были заранее предусмотрены нашим планом. Беда состояла в том,

что именно эта строка содержала необходимый в грамматически правильном высказывании глагол, каковой и был бесповоротно утрачен, о чем Юра безмятежно не догадывался, а если бы и догадался, то вставить его в последний момент куда надо было бы очень и очень непросто, учитывая прихотливые законы немецкого синтаксиса и принципиальный минимализм нашего им владения.

Я с ужасом ждал позорного провала своего собрата по оружию, но... пронесло – экзаменаторы, видимо, слушали вполуха и ничего не заметили. Я отвечал вторым и тоже успешно. Мы получили по пятерке, однако успех был, по крайней мере в моем случае, чисто тактическим: выиграв сражение, войну с немецким я проиграл. Юра же в дальнейшем выучил язык Гёте и Шиллера как следует и, насколько я знаю, даже писал на нем любовные письма. Правда, страдания Вертера оказались и на этот раз напрасными, но, думаю, дело было не в языке. (Мои любовные приключения на немецком фронте – особая история; как-нибудь в другой раз.)

Все свои *Без неймдроппинга*



Силуэт фото из архива А. К. Жолковского

Речь пойдет о старой, шестидесятипятилетней давности фотографии, которая ввиду неисповедимости путей копирайта может быть воспроизведена здесь лишь силуэтно, но вполне доступна в журнальном варианте этой виньетки¹¹.

На снимке, не считая меня, восемь человек, и большинство более или менее чужие, а то и совсем незнакомые. На частый вопрос, кто девушка в мехах рядом со мной, я всегда честно отвечал, что понятия не имею, но доверия это не вызывало.

Снимок был сделан в январе 1955-го, то есть ему шестьдесят с лишним; в старом альбоме он уже сильно покоребился от клея, и с ним самое время разобраться. Но начну все-таки не с него, а с шумной встречи нового 1964 года в большой московской компании, где, вот уж точно, все были свои. Настолько свои, что называть их по именам не буду (многие, в том числе и те, кто постарше меня, живы) – поупражняюсь в по возможности прозрачной перифрастике.

Этот новогодний рубеж оказался знаменательным и исторически, и для меня лично; нити тянутся во все стороны.

Наступал последний год оттепели. Не забуду, как 16 октября 1964 года моя возлюбленная, работавшая на Московском радио, где я уже диктовствовал на сомали, позвонила оттуда

¹¹ См. «Новый мир», 2017, 2: 129; http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_2/Content/Publication6_6554/Default.aspx.

днем и с томящими захлебками и едва сдерживаемым возбуждением в голосе запела (сладостную округлость форм она сочетала с неожиданно высоким, как бы поставленным, сопрано): «Происходит такое... такое... не знаешь, верить ли... такое... в общем, разговор не телефонный... дома расскажу!..» Так я одним из первых полуузнал о смещении генсека.

Сама эта возлюбленная – вместо жены (и наряду с аспирантурой по сомали и работой на радио) – появилась в моей жизни тоже в 1964-м, частичным предвестием чего стала опять-таки новогодняя вечеринка.

В том же шестьдесят четвертом вышел этапный 8-й выпуск сборника «Машинный перевод», в котором был развернут наш семантический проект, причем программное *Предисловие* написал я, лишив привычной начальственной роли своего Учителя, имевшего к этой работе лишь косвенное отношение; таким образом я сделал первый открытый шаг к профессиональной независимости – и многолетней вражде, зато заслужил одобрение молодого, рыжего, чуть более старшего, но уже великого коллеги, приведшее к долгому соавторству. (На вечеринке его не было: светских тусовок он не любил, а праздник мог отметить в лесу, как говорилось, *под елочкой* — в палатке и спальном мешке с очередной избранницей.)

Новый год справлялся в огромной компании, преимущественно математической, но с щедрым филологическим вкраплением, отражавшим как общеоттепельный медовый месяц физики и лирики, так и более специальный штурм-унд-дранг матлингвистики. Хозяйкой и вдохновительницей этого сборища – столь мощного, что празднование проходило в ее квартире, а шубы, сапоги, подарки и все такое сваливалось в чьей-то еще, в соседнем парадном, куда некоторые отправлялись по морозному двору в поисках интима, – была высокая черноволосая дама-математик с вдохновенным лицом и уникальным, ибо мужским, именем (задолго до французского сериала «La femme Nikita»). Мы были знакомы шапочно, но я хорошо помнил, как давным-давно глазел на нее десятилетним подростком, которого она, конечно, не замечала, приехав вскоре после войны учиться на мехмат из Ташкента и поселившись на Остоженке, в квартире № 2, под нами, у своей тетки.

Среди гостей-филологов был, конечно, мой Учитель. Был также его именитый друг – переживший ссылку сын расстрелянного в год борьбы с «космополитизмом» еврейского поэта, филолог-классик (впоследствии специалист и по иудаике). Наше знакомство было лишь косвенным, потом он раньше других уехал – жил в Иерусалиме и в Женеве (где я однажды побывал у него в гостях), но сначала в Будапеште, женившись на тамошней филологине, с которой много лет спустя, уже после его смерти, мы непринужденно пофлиртовали на бабелевской конференции 2004 года в Стэнфорде (обоим было как-то не до романов).

Но тогда мифическая заграница маячила далеко впереди, за линией горизонта, а встречать Новый год он пришел с эффектной востоковедкой, о которой я был заочно наслышан. Незадолго до того ее муж умер от диабета в альпинистском походе, буквально на руках у моего кузена, который стал заботливо навещать оставшуюся с младенцем вдову, всячески ухаживать за ней сначала в одном, а затем и в другом смысле этого слова, прожужжал мне ею все уши, но взаимности у нее не встретил. Его среди гостей не было, а рыжеволосая востоковедка (рыжиной отливала и ее девичья фамилия) была; филолог-классик быстро набрался и по большей части дремал в соседней комнате, оставив партнершу на произвол судьбы.

Насколько серьезен был их союз, не знаю. В дальнейшем она вышла замуж за блестящего математика с внешностью киногероя, и я пару раз был у них дома – однажды совершенно нахрапом: позвонил всего за десять минут до того, как заявиться с дамой (дочкой крупного цеховского работника, занимавшей меня скорее в социологическом, нежели сексуальном плане), преследуя двоякую цель: поразить хозяев, выдав свою спутницу за веселую девицу, только что подцепленную у метро, а ее – высоким классом своих знакомств.

Была там и видная чета лингвистов: она – структуралистка с логико-математическим уклоном и мастерица петь под гитару песни арбатского барда, он – будущий знаменитый ака-

демик, да и тогда уже выдающийся русист, в наступающем году имевший ссудить мне денег на постройку квартиры, оставляемой жене (а в более далеком будущем – ныне давнем прошлом – послужить, по стопам отца-основателя структурализма и подобно филологу-классику, женовским профессором).

Что касается оставляемой жены, то ума не приложу, была ли там она; наверное, все-таки да, как же иначе; а впрочем, в сентябре ушедшего года я впервые съездил в Коктебель без нее, и хотя ни к каким сексуальным подвижкам это не привело, отдых врозь говорил за себя. Кстати, назревавший и постепенно состоявшийся развод не был сугубо разрушительным: она вскоре вышла за моего тезку, известного диссидента (для чего с большим трудом прорвалась к нему в лагерь, где свидетельство о браке и было выдано – на мордовском языке); мы продолжали видеться, я подписал письмо в его защиту и был своим чередом уволен с работы. А годами позже он, высланный из Союза всемирно известный герой сопротивления, приехал в Штаты и по ходу выступления в университете, где я работал, но пока не имел постоянной должности, пригласил меня на сцену, и мы впервые в жизни, нескладно (я примерно вдвое выше ростом) и тем более театрально обнялись, после чего меня расспрашивали, каким образом я столь близок с мировой знаменитостью, и я в ответ только скромно улыбался, понимая, что павший на меня отблеск его величия напрочь снимает проблемы с tenure.

Если все это звучит чересчур многозначительно, то дело, конечно, в сверхзадаче моего нарратива, призванного отслеживать нити, ведущие назад, к началу оттепели, и вперед, к ее концу, да и ко всему последующему.

На самой вечеринке никакой особой политики не наблюдалось. Как писал андеграундный поэт, *Пили. Ели. Курили. Пели. Орали. Плясали. Сорокин лез целоваться к Юле. Сахаров уснул на стуле. Сидорова облевали...* Героями праздника были двое – я и новая в этой компании девушка с филфака, в синем платье, под именем «голубой девицы» (этот эпитет не нес тогда пряных гендерных коннотаций) не сходящая с уст большинства присутствовавших, в частности упомянутой четы лингвистов. Привел ее один из математиков, сравнительно молодой, тридцатилетний, но уже с брюшком и намечающейся плешью, – как бы на смотрины, что делало ее предметом требовательного, а то и откровенно циничного разглядывания посвященными.

Если ее обсуждали под этим углом, то мои пятнадцать минут славы были связаны с тем, что я оказался единственным в этом высоколобом обществе уже умеющим плясать твист – благодаря мимолетному знакомству со звездой советского и отчасти мирового тенниса, приемной дочерью чиновного музыканта, случившемуся в Доме творчества композиторов в Рузе, где я гостил у папы. Это была привлекательная, немного чересчур крепкая брюнетка, чуть моложе меня; держалась она, несмотря на чемпионство, мило, но ничего романического в наши уроки танцев вчитывать не надо. (У нее был сводный младший брат, тогда подросток, а во времена перестройки – популярный телеведущий; я иногда и сейчас встречаю его в лифте музыкальной башни на Маяковке, где жил мой папа и, надо полагать, они со своими родителями. Родители тоже запомнились: отец, их общий, – внушительный, лысеющий, но с густыми бровями, и мать, ее, – актриса, стареющая красавица, с драматическими черными глазами, возможно алкоголичка или наркоманка, помню ее тревожно бродящей по территории ДТК.)

Желавших приобщиться через меня к таинствам твиста было много, не исключая рыжей востоковедки и голубой девицы. С востоковедкой таким образом завязалось многолетнее – отдаленное и чисто дружеское – знакомство, а с голубой девицей не завязалось ничего, хотя после одного из изматывающих сеансов твиста мы совершили совместную прогулку в дружную квартиру: ей якобы потребовалось что-то из оставленной там одежды, я взялся показать дорогу, там мы, как водится, немножко пообнимались, но и только.

Вся эта ерунда шла своим чередом, пока часу во втором не пронесся слух, что вот-вот придут еще какие-то гости, встретившие Новый год в другом месте, а теперь решившие – был такой новогодний обычай – отведать и нашего веселья. Прозвучало несколько ничего не гово-

ривших мне имен, но среди них одно знакомое, одновременно очень революционное и традиционно татарское, всколыхнувшее воспоминания почти десятилетней давности.

В сентябре 1954-го я стал студентом филфака МГУ, в октябре умерла мама, и на зимние каникулы я решил поехать в студенческий дом отдыха «Широкое» – развеяться и покататься на лыжах. Папу немного беспокоила эта поездка «в люди», но возражать он, ввиду свойственной ему корректности, не стал, только пошутил, что академики ездят в санаторий «Узкое», а студенты соответственно в нечто противоположное, и я отправился. «Широкое» – это, кажется, на северо-запад от Москвы, в сторону Ленинграда, возможно на Валдае (может быть, оно вот тут: <http://putnik.ru/dosug/bolog/4.asp>). По приезде я был определен в комнату, где, к своему ужасу, оказался пятым лишним – малышкой-первокурсником среди теплой компании пятикурсников, да еще с другого факультета, исторического. Но перепугался я напрасно: они охотно приняли меня под свое крыло как неоперившегося юнца, которого надо похлопывать по плечу и не давать в обиду.

Вернемся, наконец, к снимку. Крайний слева – я; рядом со мной неизвестная девица; дальше один из историков (его узкой специальности не помню, а может не знал и тогда); потом опять неизвестная (мне) девица; дальше в мужской шапке красотка-чешка (о ней речь впереди); следующий – рослый красавец-мужчина, специалист по Пакистану (слово «урду» я впервые услышал от него, а в какой мере на мой последующий выбор сомали повлияла эта востоковедческая бригада, никогда не задумывался, хотя, возможно, стоит); крайний справа – историк-китаист, медлительный увалень. На снегу сидит, валяя дурака с шарфом, рыжий курчавый весельчак – неоспоримый вождь всей этой компании, будущий вьетнамист и политолог, носитель революционно-татарского имени, ожидаемый на новогодней партии шестьдесят четвертого года гость с другой вечеринки; а рядом с ним опять-таки неизвестная девица – неизвестная мне, а возможно и ему, поскольку его официальной подружкой была упомянутая выше чешка (располагавший к этому чешский элемент наличествовал и в его фамилии). Но, если подумать, девиц на снимке ровно столько же, сколько истфаковцев, и свою наивную слепоту к проглядывающей из-за этого парности я могу объяснить только нежеланием осознать собственное одиночество. И правда, кого там нет, так это очаровательной студентки, имя которой охотно, хотя и без особых оснований, связывалось с моим – в порядке присмотра старших, и прежде всего весельчака-вьетнамиста – за салагой-новобранцем.

Весельчак и прирожденный лидер, он был к тому же неугомонно вербален: ему нужно было непрерывно всех и вся называть, описывать, нарративизировать и театрализовать; его пронзительный голос звенел, не умолкая. Меня он прозвал *Аяксом* (думаю, образцом ему служили номинации типа бендеровского *предводителя команчей*), но чаще прибегал к уменьшительному *Аяксик*. Он без стеснения трубил о своей (реальной) близости с чешкой – как и мы, соцлагерницей, но все-таки иностранкой, – что в те первые послесталинские годы было дерзким вызовом порядку. Однако не менее громогласно оповещал он окружающих и о моем – преимущественно воображаемом, причем больше им, чем мной, – романе с некой Наташей, окрещенной им *Наташей Баддингтон*. В результате ее имя звучало у меня в ушах поминутно и – в порядке законного исключения – оно одно приводится в этой виньетке, поскольку его носительница осталась прекрасной незнакомкой, и, значит, никаким неймдроппингом тут не пахнет.

Это была прелестная девушка, с нежным овалом лица, изящными манерами и вкусом в одежде, выделявшим ее из общей спортивной массы, – моя сверстница, и с ней мы однажды вечером оказались соседями в кинозале, где показывали черно-белый американский фильм, из так называемых трофейных. Она мне ужасно понравилась, я стал на нее заглядываться, но был еще крайне стеснителен, и мои воздыхания оставались безответными. Вскоре я отступился, однако ее образ прочно осел в моей душе и до сих пор способен, пусть несколько туманно, витать перед моим мысленным оком.

В фильме фигурировал некий нехороший юрист, представитель явно коррумпированной, сугубо семейственной адвокатской конторы «Баддингтон, Баддингтон, Баддингтон и Ко». Эту фамилию мой покровитель (по сути, старший брат, которого мне всю жизнь не хватало) и взял на вооружение. Она отлично запоминается сама по себе, а уж после его беспрестанных заклинаний («Куда ты спрятал Наташу Баддингтон?», «Как поживают Баддингтон и Баддингтон?», «Где Баддингтон и компания?» – и так по сто раз в день) отпечаталась у меня в мозгу навсегда. Название же фильма забылось. Пару лет назад я случайно наткнулся на этот фильм по телевизору, посмотрел его, и фамилия Баддингтон отозвалась в памяти привычным аккордом, но названия я не записал и опять не помню. Сейчас попробовал разыскать фильм онлайн – не получилось.

Жеребятины было много, о политике же речи практически не заходило. Стояла ранняя оттепель, до XX съезда и разоблачения культа личности оставалось больше года, и сам я был в высшей степени зелен. Помню, однако, что, почему-то проникшись ко мне доверием, наш лидер однажды поведал, что они, то есть истфаковцы, прекрасно знают, кто среди них стукач. Он его не назвал, и я, стараясь попасть в тон, кивнул, не переспрашивая, но был уверен, что понял, кто имелся в виду; промолчал тогда, не пишу и теперь, хотя полагаю, что это прочитывается.

Две недели в «Широком» пролетели быстро, мы разъехались и больше не виделись. Но стороной до меня доходили слухи, что мой рыжий покровитель арестован за участие в анти-советском кружке и сидит. Мне, при всем моем интеллигентском свободомыслии домашнего разлива, было до такого еще далеко, да и их раннее диссидентство, как я задним числом понимаю, тоже оставалось очень наивным, сводясь к добросовестным поискам подлинного марксизма-ленинизма. Наивным, но оттого не менее рискованным.

И вот теперь он, отбыв срок, вернулся и ехал к нам – как бы не только с другой вечеринки, но и чуть ли не прямо из лагеря. А о лагерях, в частности от будущего рязанского нобеляра, мы уже знали, оттепель то шла полным ходом, то отрезвляюще прерывалась заморозками, вроде разгрома выставки в Манеже.

Я ждал прихода моего знакомого с волнением. И вот он появился – не изменившийся ни на йоту, такой же рыжий, стремительный, звонкий. Меня узнал и с ходу спросил: «Баддингтон здесь?» Я отмахнулся и стал расспрашивать его, как же было в лагере, – он был первым моим, лично моим знакомым зеком.

– До меня сразу дошло, что надо давать норму, – сказал он, – чтобы не загнуться от голода. И я давал. А по вечерам учил вьетнамский.

Я был готов вбирать каждое его слово, но он заикливаться на этой теме не стал, включился в общую тусовку, что-то съел, выпил, и его голос зазвенел так же доминантно, как когда-то в «Широком».

Пробыл он у нас, однако, не долго. Быстро оглядевшись, он высмотрел рыжеволосую востоковедку, подсел к ней, и вскоре они уехали вместе, чему ее партнер, филолог-классик, воспрепятствовать никак не мог, ибо узнал об этом, лишь пробудившись под утро. Я же во все глаза наблюдал за молниеносным похищением Европы.

Была ли длительной связь двух рыжих восточников, не знаю. Во всяком случае, они не поженились; она, как уже говорилось, вышла за неотразимого математика, а его женой стало совсем уже ориентальное чудо: восточная красавица (и, конечно, востоковедка – специалистка по истории вьетнамско-камбоджийских отношений) с невероятным марксистским именем и редкостной советской биографией – дочь репрессированного в тридцатые годы вождя бурятских коммунистов, девочкой успевшая сфотографироваться на ручках у кремлевского горца. Через них (оба уже умерли, она больше десятка лет назад, он¹² совсем недавно, в мае

¹² См. <http://memory.pvost.org/pages/cheshkov.html>.

2016-го, в восемьдесят три с половиной, – я мечтал с ним повидаться, но не вышло) я могу и себя считать вчуже породнившимся с лучшим другом детей и лингвистов.

Санта-Моника, ноябрь 2016

Король

Из воспоминаний о туманной заре советской кибернетики (1960 год?) всплывают слова, услышанные от моего Учителя¹³, который вернулся, очень довольный, с совещания в неких высших административных сферах, куда ездил вместе с нашим генеративистом С. К. Шаумяном, родственником одного из двадцати шести бакинских комиссаров, с покровительствовавшим кибернетике академиком-адмиралом А. И. Бергом и, может быть, с кем-то еще из лидеров структурной мысли. Сложная лоббистская многоходовка увенчалась, наконец, успехом.

Пользуясь короткостью наших отношений (незадолго перед тем он предложил мне перейти на ты), я задал Учителю как бы наивный, но интеллектуально высокомерный вопрос: что такого особенно интересного могло произойти где-то в министерстве (или отделе ЦК)? Что все это значит?

– Что это значит? Это значит, что за структурализм будут платить деньги. Нам, нам будут платить!..

Ответ запомнился на всю жизнь. С чем его сравнить? Со знаменитой фразой Талейрана, получившего должность министра иностранных дел: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние!»? Но зачем же такие параллели? Речь ведь не о личной корысти, а о ясном понимании природы социальных институтов, в частности – законов превращения культурного капитала в символический и далее в финансовый.

«– Король, – сказал шепелявый Мойсейка...»

¹³ Вяч. Вс. Иванова (1929–2017).

За кашей

Посвящается Розанову

Я всегда действовал именно так, но свое просвещенное внимание обратил на это только недавно, когда вдруг заметил, что испытываю некое дополнительное, принципиальное удовольствие – типа *и увидел, что это хорошо*.

В холодильнике вчерашняя каша – как овсяная, так и рисовая – имеет тенденцию слеживаться в большие пласты, чуть ли не ломти, мягкие, но требующие возвращения в исходное кашеобразное состояние. Простое разогревание, даже с маслом, будь то на сковороде или в микроволновке, не помогает. Нужно что-то делать.

Я беру нож и, придерживая слипшийся пласт вилкой, а то и большой ложкой, нарезаю его – сначала мелкими продольными движениями, а потом, повернув миску, и поперечными; можно сказать, шинкую. Эта техника знакома мне по приготовлению овощей – сырых для салата и борща, вареных для винегрета. Знакома и приятна, но, в общем случае, приятна самым обычным образом, как всякая осмысленная деятельность, быстро дающая ощутимый результат. А шинкование каши, как я обнаружил с чуть ли не пожизненным запозданием, несет в себе еще и какую-то прибавочную ценность.

Какую же? В чем его отличие от нарезания овощей? И, если вдуматься, от аналогичного нарезания слежавшейся вермишели? Наконец, от рекомендуемого в таких случаях применения специального орудия: деревянного или металлического пестика (он же толкушка, а также картофелемялка), – рекомендуемого, но мной упорно избегаемого?

Как известно, в науке главное – это правильно поставить вопрос, и тогда ответ не заставит себя ждать. Итак, в чем разница? А вот в чем.

Нарезание овощей и вермишели не предполагает их размельчения в сплошную нерасчлененную массу, а нарезание каши предполагает. Таким образом, искомая особенность моего образа действий состоит в неправильном, но чем-то дорогом мне применении дискретного инструмента, ножа – а не чуждого мне пестика! – для получения недискретного, прямо скажем, аналогового результата. То есть я и тут верен Науке, берущейся моделировать все естественное, органичное, живое, даже художественное, структурными, дискретными, цифровыми методами – компьютерными единицами и ноликами.

Вот откуда мой прибавочный кайф! Это как бы мой наглядный ежедневный ответ маловерам и нытикам, все еще сомневающимся в возможностях структурной поэтики. Хотя... Если их не убеждает ни таблица элементов Менделеева, ни даже двойная спираль Уотсона и Крика, размазыванием каши по столу их вряд ли возьмешь.

Тем более надо признать, что, поорудовав ножом, я под конец все-таки пускаю в ход тыльную сторону ложки. Структурная модель – хорошо, но всегда ведь остается неуловимое «чуть-чуть»!..

Аромат эпохи ***Из истории 70-х***

– Алик, почему ты с нами не ходишь бегать? – спросил Лёня К.

Речь шла о еженедельном спортивном мероприятии. В те годы Игорь Мельчук и его компания ездили в Нескучный сад, где всячески разминались, отжимались, приседали пистолетиком и бегали трусцой, в неформальной обстановке выясняя смысл науки и жизни. Это был, так сказать, зеркальный – на бесплатном открытом воздухе – диссидентский вариант тех засекреченных цековских саун, где решались вопросы большой и малой советской политики.

Лёня, сотрудник Института русского языка, входил в мельчуковскую компанию, но пользовался и определенным официальным доверием и вел на радио передачу о культуре речи.

Зарядок и тренировок я не любил никогда, тем более коллективных, а бегу предпочитал и предпочитаю велосипед, плавание и байдарку, желательно с парусом, претендуя на некий встречный вклад со стороны сил природы и простейшей техники. Джоггинг тогда не вошел еще в моду, так что Мельчук и тут находился в авангарде, но постепенно идея оздоровительного бега овладевала культурной элитой. Однажды мы со Щегловым обратили внимание на пробегавшего мимо человека и долго обсуждали, *бежит* он или *бегает*.

В этом пижонски лингвистическом ключе отреагировал я и на вопрос Лёни К.:

– Лёня, тебе и твоим радиослушателям отвечу так: потому, что *ходить бегать* – тяжелая конструкция.



Игорь Мельчук (1970-е). Фото из архива А. К. Жолковского

Феликс Дрейзин (ныне давно покойный) высказывался на ту же тему с присущей ему страстью к срыванию масок:

– Туда ходят институтские девочки, которые носят за Мельчуком его трусики и, нюхая их, приобщаются к высокой науке.

Феликс издали бунтовал против Мельчука, называл его рыжим лингвистическим фюре-ром, в общем, завидовал. Я же, в рамках совместной работы регулярно имевший Игоря у себя дома, так сказать, в порядке room service, скорее ревновал его к «посторонним».

Визит к старой даме

С Надеждой Яковлевной Мандельштам я познакомился в Москве в начале (или середине?) 1970-х годов, в тот единственный раз, что был у нее, приведенный Ю. Л. Фрейдиным по ее приглашению, после того как я – через него – показал ей рукопись своей статьи о «Военных астрах» Мандельштама. В то время Н. Я. была уже знаменита и опальна – как автор своей первой книги воспоминаний и авторитетный хранитель и комментатор мандельштамовского наследия. К ней ходили – это было интересно, престижно и слегка щекочуще-опасно. Н. Я. было примерно столько лет, сколько мне сейчас¹⁴.

Мой опус она нашла чересчур серьезным для шуточного «стишка», которому он посвящен, но держалась со мной ласково и даже кокетливо, угощала каким-то швейцарским шоколадом и тут же предложила бывшему у нее в гостях с супругой голландскому профессору Яну ван дер Энгу, тогдашнему соредактору (вместе со шведом Нильсом Оке Нильссоном) «Russian Literature», напечатать статью в его журнале. Ван дер Энг тут же согласился, но статью я ему не отдал, честно сославшись на «страх полицейских репрессий». Н. Я. стала меня укорять, говоря: «А как же вот я не боюсь?», – на что я мудро отвечал, что она свое уже отстрадала и теперь ей все можно.

Между тем знакомство с ван дер Энгами все-таки состоялось, и, дозрев вскоре до публикаций на Западе (в рамках постепенно все большей готовности к отъезду), я стал пересылать ван дер Энгу и Нильссону свои статьи, и они появлялись в «Russian Literature». Правда, статью об «Астрах» я почему-то послал не им, а Дмитрию Сегалу и Лазарю Флейшману в Иерусалим.

Изготовление нескольких подстраховочных копий было осуществлено в НИИ «Информ-электро», где я тогда работал, для чего наш босс Боря Румшицкий, невысокого роста беспартийный еврей без научной степени, но с глубоким пониманием структуры власти, неразборчиво подмахнул загадочную бумагу и провел меня в закрытый машинный зал, где за семью кагэбэшными печатями стояли недоступные народу «ксероксы».

Несколько слов о самой статье. Это одна из ранних работ как по поэтике выразительности, так и по запретному тогда Мандельштаму. Она, конечно, тяжеловата. Теоретически ценной я полагаю саму попытку овеществить, пусть несколько прямолинейно, идею перевода локальной темы с общечеловеческого языка здравого смысла на язык инвариантов поэта – в виде небольшого глоссария, задающего, кстати, потенциальную многовариантность такого творческого перевода. Что касается мандельштамоведения, то соответствующие штудии шагнули с тех пор далеко, но преимущественно в поиске подтекстов, а не выявлении инвариантов. Статья дорога и тем, что своеобразно повлияла на всегда почитавшегося мной М. Л. Гаспарова, постоянного участника нашего Семинара. Вот что он писал об этом три десятка лет спустя:

Стихотворения брались сложные (особенным вниманием пользовался Мандельштам), разборы делались очень детальные, иногда доклады с обсуждениями затягивались на два заседания. Я помню, как впервые позволил себе выйти за рамки моей стиховедческой специальности: Жолковский предложил интерпретацию последовательности образов в стихотворении Мандельштама «Я пью за военные астры...», эта интерпретация показалась мне более артистичной, чем убедительной, и я предложил немного другую, стараясь следовать его же непривычным для меня правилам; мне казалось, что я его пародирую, но он отнесся к этому

¹⁴ Писано в 2014 году.

серьезно и попросил разрешения сделать ссылку на меня. Так я стал осваивать жанр анализа поэтического произведения.

Давно все это было, а кажется, что вчера.

Интертекст (72 слова)

– Помилуй, что ты несешь?..

– Прости, лапонька. Умочка у нас ты...

Она любила все умное – сильно, пламенно и нежно.

– ...Игорь точно так же сердился...

Про того, кто раньше с нею был, я знал, что он поэт, знакомый с самим Визбором.

– ...говорил: «Кто-то брякнул, застегивая штаны, а она все в дом несет!»

Стихи его остались мне неизвестны, но в крылатости его прозы сомневаться не приходилось. Хотя об интертекстах у нас еще не знали девы.

О понимании

На докторской защите старинного приятеля мне бросилась в глаза вальяжная грация, с которой его жена то вливалась в зал, то снова его покидала; как я вскоре понял, Мариша (назову ее так) руководила подготовкой банкета, накрывавшегося тем временем в одном из секторов Института. Ее вечернее платье из черного газа, тщательная прическа и уверенная, снисходительно кокетливая манера поражали своим несоответствием прочно сложившемуся у меня образу. Этот контраст занимал меня, пока я, наконец, не нашел ему словесного эквивалента.

– А Мариша-то, – сказал я на ухо более молодой общей знакомой, – приобрела, как бы это выразиться, следы былой красоты.

– Что значит «приобрела»? Мы только так ее и проходили.

Ссылка на утраченное за годы изгнания чувство локтя направила ход моих реминисценций в далекое прошлое.

...Толя вернулся с юга в романтическом возбуждении. Где-то на туристских тропах Крыма он познакомился с замечательной девушкой, они поняли, что созданы друг для друга, и все было бы прекрасно, но она оказалась замужем и с ребенком. Для любви, однако, нет преград. Приехав в Москву, они бросились к ногам ее мужа, который – тут Толины зрочки за толстыми очками еще больше расширились от переполнявших чувств – оказался нормальным человеком и *проявил понимание*.

Услышав эту формулировку (с тех пор навсегда вошедшую в мой словарь), я сделал стойку.

– Проявил понимание?!

– Да, представляешь, проявил полное понимание и сразу согласился на развод.

При всей ограниченности данных, у меня тоже начало складываться понимание ситуации, близкое, по всей вероятности, к мужниному. Проявлять я его, однако, не стал, и с тем большим интересом ожидал личного знакомства с героиней романа во вкусе Жорж Санд и Чернышевского.

Смотрины – и последующие десятилетия – подтвердили мои предположения. На фоне Мариши постоянное присутствие ее дочери и матери воспринималось как облегчение. Еще большей подмогой было бы, наверно, присутствие бывшего мужа, однако его понимание оказалось действительно полным и – окончательным.

В сторону Гогена

Таити всегда звучало загадочно, маняще, недостижаемо. Я до сих пор так и не побывал там, хотя теперь вроде бы все доступно, но однажды познакомился с молодой аборигенкой этого острова. Знакомство было случайное и кончилось ничем, но мы провели вместе много часов в довольно тесном общении. История имела, как полагается, начало, середину и конец.

Встретились мы в салоне авиалайнера, летевшего из Лос-Анджелеса в Париж. Мое место было у прохода, а ее рядом – у окна, на фоне которого рисовался ее профиль, немного приплюснутый, но с непропорционально большим носом и необычным разрезом глаз. Собственно, виден, правда в тени, зато крупным планом, мне был в основном один глаз, правый – огромный, черный, влажный, экзотический. Лица же целиком я в полусвете салона рассмотреть не мог, что только добавляло таинственности. Одета она была во что-то яркое, но в сидячем поясном портрете это оставалось лишь общим импрессионистическим мазком.

Я заговорил с ней, английский не пошел, я удивился, спросил, откуда она, она сказала, я внутренне слегка ахнул и не без трепета решился пустить в ход свой заскорузлый французский. Приблизительны были и мои представления о государственном устройстве Таити, так что ей пришлось объяснить мне, что она заморская французская гражданка. Я полу в шутку потребовал предъявить паспорт, она без церемоний показала, и я получил документальное подтверждение ее вдвойне завлекательного на наш российский взгляд статуса – как француженки и как таитянки. Шатобриан, Бодлер, Гоген, а заодно и Мелвилл (с его «Тайпи») немедленно завитали перед моим мысленным взором.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.